

А
К
К
О
Р
Д
2



Александр
Солин



18+

Александр Солин

Аккорд 2

<https://litres.ru/73098348>

SelfPub; 2026

Аннотация

Я не знаю, что такое Любовь. Знаю только, что она первая среди реальных и мнимых ценностей, и что не хватит и ста жизней, чтобы ее познать. По мне любовь так же значима и загадочна, как Время, Пространство и Материя. Я, знаете ли, согласен с теми, кто заявляет, что любовное чувство есть неуничтожимое и неизменное в веках основание и оправдание нашего существования. Оно материально и входит в мировой обмен веществ.

Александр Солин

Аккорд 2

Лина

31

Ах, как удобна и комфортна моя любовь к Нике! Не любовь, а сплошная филателия! Моя верная, моя нежная, моя невыносимо трогательная Ника – необыкновенная, редкая и великодушная! Такая, как ты – одна на миллион, но Лина еще более редкий экземпляр, куда более редкий. Я жалкий и ничтожный человек, я недостоин тебя, прости меня, прости! Моя любовь к тебе не дотягивает до *amor aequalis* – любви равнодающей и равнополучающей. Я получаю явно больше, чем заслуживаю.

И ты, моя послушная, добрая Лара – прости мне мою практичную, невзыскательную любовь! Надеюсь, сегодня ты счастлива и не держишь на меня зла.

Лера, моя порывистая Лера – свежая и чистая, как дуновение утреннего бриза, горячая и благоуханная, как дыхание цветущего разнотравья! Моя нечаянная, отчаянная девственница, моя скоротечная бледно-розовая заря, мое запоз-

далое умиление. С тобой мне было не просто хорошо – с тобой я был на волосок от любви! И бежал я от тебя только потому, что боялся полюбить. Как часто я жалел, что отпустил тебя, и как благодарен тебе, что ты оказалась мудрее меня!

Моя чудная, апельсиновая Софи, мой жемчужно-агатый ангел, душа моей музыки и митральный клапан моей пульсирующей памяти! Я любил тебя почти так же, как Лину, но предал ради нее. Я горжусь тем, что ты меня любила и ненавижу себя за то, что не добился тебя. Ты дала мне больше всех, но отняла у меня надежду. Разве я могу тебя забыть?

Ах, моя незабвенная, чувственная Ирен! Благодарю тебя за нашу мятежную, восторженную близость! Поверь, я помню жертвенный огонь твоего алтаря и мои неистовые челобитные Эросу и не устаю винить себя в бессердечии!

Валюша, ревнивая подруга моей юности, моя синеглазая, белокожая, рыжеволосая колдунья! Прости мне мой бесчувственный эгоизм! Твой женский гений был оценен мною слишком поздно, отчего наш бурный, форшлаговый роман оказался подобен золотой, расцвеченной голубыми и багряными красками осени!

И ты, моя бедная, самоотверженная Натали! С тобой я стал мужчиной, с тобой впервые вкусил блаженство, тебе первой подарил свою нежность!

И ты, моя единственная и несравненная Нина! Если верно, что любовь есть стремление к красоте, то с тобой я впервые познал красоту!

И даже ты, царственная Люси, ангельская внешность, роковая изнанка! Разве я не должен благодарить тебя за то, что ты не отняла меня у Лины?

И вы, покладистые и отзывчивые операционистки! Поверьте, я любил вас, когда обнимал и заглядывал в ваши доверчивые глаза! Я любил и жалел вас, когда вы уходили от меня и в благодарность за вашу жертвенность годами заботился о вас!

И даже вы, безликие и безымянные крымчанки и подольчанки! Распутные и великодушные, вы грубоватыми словами и бесстыдными ласками утешали и жалели меня!

Ах, мои великие и бессмертные женщины! Вы были со мной, вы есть и останетесь со мной навсегда! Я бесконечно виноват перед вами: увлеченный своей любовью, я отвергал вашу, потому что вы были лишь предтечей, предвестием непорочного и падшего божества. Вы были яркими сполохами моей главной и несчастной мечты, ибо только мое чувство к Лине и есть та самая священная любовь, о которой мечтает каждый смертный! Та, что либо убивает, либо делает бессмертным.

Ловлю себя на том, что пишу ни о чем. Вернее, пишу о том, что интересно мне одному. Пожалуй, стоило признаться в этом раньше. Надеюсь, однако, что те читатели, которые это уже заметили, давно отложили книгу, а те, что едва начав читать, поспешили заглянуть в конец, отложили ее еще раньше. Не собираюсь ни сожалеть, ни, тем более, оправды-

ваться. Я не придумываю, я живописую историю моих переживаний – то есть, делаю то, что надлежит сделать после пятидесяти каждому, и делалось бы, если бы любовному родословию в наше время уделялось то внимание, которого оно заслуживает. А потому можете считать мои заметки внеисторическими муаровыми мемуарами (или мемуаровыми муарами?). В них узорчатое своеобразие не отдельной эпохи, а влюбленной вечности. Буду рад, если они станут для вас зеркалом.

32

Итак, мой аккорд сформирован, но он как гроздь незрелого винограда: такой же невнятный на слух, как и на вкус. В отличие от картины, что висит над моей кроватью, ему не хватает той чудесной точки, что вдохнет в него жизнь.

Считается, что любовь есть абсолютная мера добра, всеобщий, так сказать, эквивалент человечности, своего рода доллар мировой валютной системы человеческих ценностей. Тогда чем объяснить, что мне досталась ее грубая, антигуманная подделка? Почему в обычного человека, каким я себя считаю, вселилась ее самая злая и беспощадная, самая разная и смертельная разновидность – та, которую древние греки считали наказанием богов, а современные психологи – маниакальной формой одержимости?! На этот счет у меня своя теория. Вот она.

Вопреки бытующему мнению, что любовь и ненависть – два независимых психических явления и подобно яду и противоядию существуют порознь, я утверждаю: то, что мы принимаем за любовь, на самом деле есть соединение собственно любви и собственно ненависти (как вода есть соединение кислорода и водорода), и соединение это с одинаковым правом может именоваться как Любовью, так и Ненавистью, либо каким-то третьим, не придуманным еще словом (например, *нелюбовь*). Ненависть, как и ревность, есть несублимируемая часть любви, ее вторая, равноправная сторона. Недавнее заявление ученых, что оба чувства возбуждаются одним и тем же гормоном окситоцином, объясняет их прямо-таки сиамское соучастие в сердечных делах. Единое чувство "обожание-ненависть" переливается подобно драгоценному кристаллу – от восторженного сияния через голубовато-вежливое свечение к антрацитовый немоте презрения, и обратно. Это неистовое небесно-языческое чувство квартирует рядом с интуицией и творчеством и, проникнув в сознание, либо остается в нем навсегда, либо, не сумев себя познать, снова прячется, обрастая надеждой или страхом. В этом смысле она подобна острову, что вздымается вдруг из воды и либо получает название и наносится на карту, либо становится причиной кораблекрушения и вновь тонет. Любовь и ненависть правят человеческим миром. Счастлив тот, к кому Любовь обращена своей светлой стороной. Блаженны высокие духом, не ведающие разочарования, не подверженные

сомнению, не алчущие идеала: они никогда не узнают, что такое Любовь. Ибо чтобы познать ее, нужно породниться с Ненавистью, пропитаться ею и ужаснуться.

Уж не знаю, какого цвета был мой кристалл, но мне давно следовало признать, что в той чертовой гостинице женой двигала не похоть, а ее первая любовь, как двигала она Софией и Люси. А это уже смягчающее вину обстоятельство. Если же учесть ее громкое раскаяние и дальнейшее образцово-показательное поведение, то тут и до оправдательного приговора недалеко. Только что теперь проку в том, что я надену мантию, соберусь с духом и под торжественное "Встать, суд идет!" выйду в пустой зал и объявлю: "Невиновна!" Подсудимая давно уже не нуждается в моем оправдании, и те новые деяния, что она творит, мне больше неподсудны.

Господи, боже мой, я и мечтать не смею о запахе ее духов, который так хорош наутро, когда за ночь дерзкие, непоседливые эфиры улетучиваются и остается тихий стеснительный запах-домосед, что живет в ее переливающихся сонным золотом волосах, за ушком, на шейке, в разрезе груди и дыхании халата! Мне ничего от нее не надо, только бы видеть, как она опускает ресницы и как кончиками пальцев раздвигает полог волос! И мне все равно, кто она – падший ангел или дьяволица! Почему, ну почему я не могу жить без этого непостижимого никаким рассудком существа, без ее помеченной божьей милостью красоты, без ее безрассудства и гнева, бессердечной гордыни и виноватой преданности?!

Я не хотел ничего о ней знать, и каждый раз, начиная разговор с сыном, со страхом замирал. Мне чудилось, что он вдруг со взрослым сочувствием скажет: "А мама выходит замуж..." Но сын щадил меня и рассказывал о том, как готовится к выпускным экзаменам, как чопорно и целомудренно ухаживает за Юлей, как жалеет, что в седьмом классе довел нас до истерики и вынудил забрать его из музыкальной школы. Был он на пять сантиметров ниже меня, плотен и крепок, каким бывает преданный спорту юноша. С мозгами у него было все в порядке, и после школы он собирался продолжить династию экономистов. Он любил музыку, любил рок, но джаз не понимал, и все мои попытки открыть перед ним колдовское очарование его аккордов, были напрасны. К финалу нашего разговора в моем стволе оставался последний патрон, и я, испытывая чувство, подобное тому, какое испытывает игрок в русскую рулетку перед тем, как нажать на курок, слабел от страха и говорил:

– Надеюсь, у мамы все хорошо...

– Да, все нормально, – лаконично подтверждал сын.

А какими еще могут быть дела у женщины, освободившейся, наконец, от придурка-мужа? Не пора ли признать, что если жена ищет независимости, значит, ее любовь прошла, а стало быть, я проиграл? Да, проиграл, и нет никого, кроме меня самого, кому бы я мог предъявить счет. Может, только судьбе.

Кстати, о судьбе. Сегодня моя жизнь представляется мне

чем-то вроде путешествия в космическом пространстве (чем она, по сути, и является): та же тишина мысли, безвоздушность одиночества и гравитация отношений. А главное, *хоры стройные светил*, то есть, женщины. Уверяю вас – они и есть истинная цель мужского путешествия. Все прочие так называемые жизненные цели, включая деньги и власть – лишь средства их достижения. Достичь и оказаться в плену их поля притяжения – вот цель и суть мужской жизни. Так вот о судьбе мы чаще всего вспоминаем, когда наш полет сбивается с заданного курса. Судьба – это некая химера, на которую мы валим вину за наши штурманские просчеты. И неспроста. На самом деле жизнь куда сложнее Космоса, который известен нам на миллиарды лет назад и вперед, в то время как о жизни мы знаем только то, что она может оборваться в любой момент. Отсюда вывод: чтобы узнать себя, надо не приобрести, а потерять.

33

В конце лета наши с Линой орбиты коллективными усилиями звезд на ярком августовском небе пересеклись. Чувствуя себя шатким хозяином положения, я позвонил ей:

– Привет.

– Привет, – задержалась она с ответом на несколько секунд.

– Как ты?

– Нормально.

– Звоню узнать, когда вывозить наших с дачи.

– Если можно, двадцать восьмого, часов в двенадцать.

– Договорились. Ты будешь с ними?

– Нет, буду ждать дома.

Сказано довольно мирным, несколько даже усталым тоном. И я не выдержал:

– Лина, сжался же, наконец!

Она помедлила и скомканным голосом ответила:

– Тебя и так есть, кому пожалеть.

– Неужели непонятно, что мне никто не нужен, кроме тебя!

– Всё, всё, хватит...

– Умоляю, прости и возвращайся!

– Я всё сказала!

– Линочка!..

Отбой. Да твою ж мать-маразмать!

В назначенный день и час я был в Голицыно. Погрузились, поехали. По дороге теща проговорила, что Лина проводила отпуск не с ними, а в Немчиновке. Почему в Немчиновке? Сказала, что ей там лучше. "Хотел бы я знать, что она там забыла" – угрюмо подумал я, чувствуя, как сжимается желудок. Господи, неужели у нее хватило цинизма притащить в храм нашей любви кого-то третьего и надругаться над святым местом? Где – на чердаке или в ее комнате? К горлу подкатил тошный ком.

Приехали, и я помог поднять вещи. Оставил у двери и попрощался.

– Ты что, даже не зайдешь? – опешила теща.

– В следующий раз, – скривился я и торопливо ушел.

Стоит ли говорить, что заказчица грузоперевозок так и не удосужилась поблагодарить грузоперевозчика за хлопоты.

Кочуя из жара в холод и страдая от климактерических мук ревности, дожил я до дня рождения сына – второго официального повода для перемирия. Был приглашен, но нашел смехотворный предлог и от визита уклонился. Слишком велик был страх обнаружить у бывшей жены благотворные признаки возрождения. Слишком велика была боязнь обжечься об ее чужое, сияющее новым чувством лицо. Нестерпимо было думать, что этот свет зажег в ней другой мужчина. А между тем я мог явиться туда почти героем. Дело в том, что за месяц до этого я сговорился с тещей и, взяв с нее честное тещино слово, переписал на нее дом в Голицыно, который она, в свою очередь, должна была через год записать на внука. Получив документы, мы зашли с ней в кафе и прошущукались около часа. Растроганная теща осыпала меня отборнейшей признательностью. В который раз сокрушалась по поводу нашего с Линой разрыва и никак не могла взять в толк, почему ее дочь ушла от такого достойного мужа без всяких на то причин. На мой осторожный вопрос, как ее дочь объясняет свой уход, возмущенно воскликнула:

– Твердит одно – разлюбила! Ну, не дура ли?!

Успокоившись, сообщила, что по ее категоричному мнению Линке со мной сильно повезло. Сколько раз она ей, дуре, об этом говорила! И не устает повторять, как бы та на нее ни злилась. Я в ее представлении – идеальный мужчина: сильный, красивый, глубоко порядочный, а главное, великодушный. Да после того, что ее дочь учудила, другой бы ее бросил, а я простил и столько лет о ней заботился! А что в ответ? Черная неблагодарность! Впрочем, чему тут удивляться – ей ли не знать собственную дочь! Да она всю жизнь делает всё не по уму, а назло! И вдруг, подозрительно уставившись на меня:

– Послушай, у тебя и правда никого нет?

Выдержав ее партийный взгляд, я заверил, что любил и люблю только Лину и готов воссоединиться с ней хоть завтра. Вконец озадаченная теща откинулась на спинку стула и воскликнула:

– Ну, тогда я вообще ничего не понимаю! Я бы еще поняла, если бы у нее был другой мужчина! Но ведь его нет! Я точно знаю, что нет!

Увы, тещина уверенность мне не передалась. Уж если ее дочь скрыла от нее мои похождения, то своими и вовсе не станет делиться!

Поступок мой, как и положено, произвел эффект. На следующий день после дня рождения меня прочувствованно поблагодарил тесть, а затем позвонил сын, с которым мы встретились вечером в ресторане. Давно, а вернее, никогда мы не

говорили с ним с такой душевной откровенностью. За вечер мы, можно сказать, перемахнули сразу через несколько ступенек доверительности. Глядя на сына с теплой, гордой улыбкой, я отделял Линыны черты от своих, любовался ими, а налюбовавшись, отворачивался и смаргивал слезы. Зная, что меня интересует в первую очередь, сын рассказывал мне о матери. Говорил, что все его друзья и подруги просто влюблены в нее, а с Юлькой они прямо как подружки. Юлька часто говорит, что хотела бы быть такой же красивой и доброй, как наша мама. Хотя сама тоже красивая. И чем же Юлька ему нравится? Она классная и всеми командует. Нет, она не вздорная! Нет, она знает меру! Ну, пап, ну, перестань, я сам уже знаю, как вести себя с девчонками! Ты мне лучше скажи, почему вы развелись? Вот ты любишь маму, да? И она тебя любит! Любит, любит, я знаю! Она когда рассказывает о тебе, у нее голос и лицо меняются! Странно получается – любите друг друга, а в разводе! Не понимаю, зачем тогда надо было жениться! Или это у вас такая особая любовь?

– Между прочим, это она захотела развестись, – уточнил я.

– Значит, ты дал ей повод!

– Ты удивишься, если я скажу, что лучше твоей мамы никого на свете нет, что я люблю ее, скучаю и хочу, чтобы мы снова были вместе! Так и передай ей.

– А почему сам не скажешь?

– Она не хочет со мной говорить...

– Пап, ты правда ни в чем не виноват?

– Я виноват только в том, что не смог ее удержать.

– Скажи, а почему я у вас один? Я вот, например, всегда мечтал о сестре!

– И я...

– И что?

– Да ничего. Глупо, смешно и грустно...

Придет время, и он узнает, что у него есть брат и сестра. И что он тогда скажет о папе, который клялся, что любит маму, а спал с другими женщинами?

На следующий день позвонила Лина, и это был ее первый после развода звонок. Один звонок в полгода – жуткая, убийственная арифметика! Если бы не мои регулярные вечерние звонки теще, которыми я донимал ее только ради того чтобы обостренным чутьем следить за незримым присутствием Лины, что подобно зеленому пятнышку передвигалась по экрану моего внутреннего локатора, отмечаясь отдаленными, приглушенными восклицаниями, звуками шагов, скрипом дверей, постукиваниями, покашливаниями и, как мне даже казалось, дыханием, запахом духов и волнами воздуха от опала ее тела – так вот, если бы не эти прикосновения к ее жизни, впору было бы повеситься. Иногда она с расстояния в несколько метров спрашивала: "Кто это?" и мать радостно сообщала: "Юра!", но никогда, никогда, никогда за этим не следовало: "Передай ему привет"!

И вот ее голос в трубке. Я вскочил с дивана и превратился

в собачий слух.

– Привет. Спасибо за щедрость – с неприкрытой иронией сказала она.

– Не за что, обращайтесь, – ответил я с развязной небрежностью.

– Что нового? Не женился еще?

Легкий привкус издевки.

– Ты же знаешь, что я люблю только тебя! – оскорбился я.

– Вот насчет этого я и звоню, – вкрадчиво сообщила она.

– Слушай, будь добр, не морочь ребенку голову! Не втягивай его в наши дела! И не вздумай ему рассказать про меня!

Придет время – я сама ему все расскажу.

Не трубка, а громогласный рупор, которым белоснежная, высокомерная яхта отпугивает от себя угольную баржу.

– И что ты ему расскажешь? Что до меня любила одного парня? А я ему расскажу, что до тебя у меня было десять девчонок! Ну, и чья возьмет?

– О себе ты можешь рассказывать что угодно, а за себя я сама отвечу.

– И сделаешь большую глупость!

– Позволь мне самой решать, что глупость, а что нет!

– Нет, позволь и мне в этом поучаствовать, потому что жена Цезаря, даже бывшая, должна быть вне подозрений! – не отступаю я. – Если кто и виноват, то это сам Цезарь. Придет время, и я расскажу сыну про его сестру. Да что там придет – завтра же и расскажу!

– Мне твои красивые римские жесты ни к чему, – к моему удивлению не торопится она бросать трубку.

– Да? Тогда что мне отвечать ребенку, когда он спрашивает, почему мы развелись?

– Мне он таких вопросов не задает.

Терпение, терпение, счастье, счастье!

– А я думаю, задает. Иначе бы ты не позвонила.

– Я позвонила, чтобы остеречь тебя от ненужной откровенности. Я знаю, ты злишься на меня и можешь наговорить ребенку бог знает что!

Восхитительное, изощренное измывательство! Впору закатить получасовую речь, чтобы пропитаться им! Боюсь только, что ее не хватит и на полминуты.

– Вот как? Ты не видела меня полгода и знаешь, что я злюсь? Откуда ты знаешь, что чувствую я, если не знаешь, что чувствует у тебя под боком наш сын?! А он, между прочим, хочет, чтобы мы снова жили вместе. И я хочу. Мы с ним хотим, а ты нет. Это ты знаешь?

– Повторяю: нам с Костиком хорошо вдвоем, и не надо сбивать его с толку дурацкими разговорами!

Первые признаки раздражения.

– Успокойся. Если я ему что-то и рассказываю про тебя, то только хорошее, потому что ничего плохого за тобой не числится.

– Я тебя не узнаю! Где же ты такой великодушный раньше был? – издевательски пропела Лина.

– Я им всегда был, только ты не замечала. А ушла от меня, чтобы освободить место для кого-то третьего. Ну и как, довольна?

– Очень! – налился звонким вызовом ее голос. – Наконец-то почувствовала себя женщиной!

Теперь я спокоен: пока она моим унижением не насладится, трубку не бросит.

– Рад за тебя. Только помни: когда ты ему надоешь, я уже буду занят.

– Ах, напугал! Да я только и мечтаю, чтобы кто-нибудь прибрал тебя к рукам, и ты перестал стоять у меня над душой! – веселилась Лина.

– Спасибо за откровенность. За это я тебя и люблю.

– Ну да. Меня и еще десятерых.

– Послушай, давай серьезно. Мне действительно плохо без вас, и я хочу...

– Все, все! Еще раз спасибо и пока! – пользуясь превосходством, бросает она трубку.

– Подожди, дай сказать!! – кричу я вдогонку, но она уже далеко. Да твою ж мать-перемать! Если бы не предстоящее совещание, я бы уехал домой и напился...

34

На следующий день я встретился с сыном в небольшом кафе на Чистопрудном.

– Зачем позвал? – усевшись напротив, спросил сын.

– Хочу тебе кое в чем признаться.

– Ух ты! Ну, признавайся, что ты там еще натворил! – с улыбочивым любопытством глядел на меня сын.

Помявшись, я сказал:

– У тебя есть сестра.

– Не понял, – поднял брови сын.

– Единокровная сестра. Ей два года.

– Что такое единокровная сестра?

– Это существо женского пола, отец которого я, а мать – другая женщина. Из-за этого наша мама со мной и развелась.

Несколько секунд он соображал, а затем недоверчиво спросил:

– Что, серьезно?

– Серьезней некуда.

– Но ты же говорил, что ни в чем не виноват!

– Я тебя обманул, извини.

Глядя на меня с неприязнью, сын сухо заключил:

– Значит, ты и маму обманул.

– Получается так.

– Но ты же говорил, что любишь ее, – смотрел он исподлобья моими колючими глазами. Не глаза, а черный дым с пламенем!

– Да, говорил и говорю это снова: я люблю нашу маму больше всех на свете. И тебя люблю.

Пауза, и он тихо и строго объявил:

– Ты все врешь. Ты не любишь маму и меня не любишь.

– Костя, послушай... – потянулся я к нему рукой.

– Все, забудь нас, – отдернув руку, процедил он и, поджав пухлые материнские губы, выбежал из кафе. Я проводил его беспомощным взглядом и вдруг ощутил облегчение. В самом деле: ложь с воза – душе-кобыле легче. И я подумал, что если освобожусь от всех моих грехов, буду невесомей тополиного пуха.

На следующий день сын, которого я теперь ожидал увидеть не раньше чем лет, этак, через десять, неожиданно позвонил и назначил встречу в том же кафе. Не здороваясь, сел напротив и сдержано сказал:

– Мама мне все рассказала.

– Что она тебе рассказала? – испугался я.

– Рассказала, что когда я был маленький, она тебе изменила.

– Господи, она что, свихнулась? – простонал я.

– Она сказала, что ты жил с ней только ради меня. Это так?

– Господи, ну, зачем, зачем, зачем!.. – стонал я, закрыв ладонями лицо. – Ведь я же запретил ей тебе это рассказывать!

– Она не хотела, чтобы я думал о тебе плохо...

– Не верь ей, слышишь, не верь! – отняв руки, возбужденно заговорил я. – Твоя мать – святая! Ее оскорбили, ее очень сильно оскорбили, а я не смог ее защитить, и я никогда себе этого не прощу, никогда! – неуклюже вытер я глаза.

– Ну ладно, пап, ну чего ты... – протянув руку, с взрослым сочувствием коснулся меня сын. – Я же все понимаю...

– Что ты понимаешь?! – смешно хлюпнул я носом.

– Ну, что такое бывает... У нас в классе у двух девчонок родители из-за этого тоже разошлись...

– И на них теперь пальцем показывают?

– Нет, жалеют...

– Значит, тебя из-за нас тоже будут жалеть?

– А я что, собираюсь об этом звонить? Да я даже Юльке не скажу!

– Надеюсь, нас ты стыдиться не будешь...

– Вот вас-то я точно буду жалеть!

– Имей в виду – мама ни в чем не виновата!

– Да, да, я понял. Она очень плакала. Плакала и просила у меня прощения. И сказала, чтобы я с тобой помирился. Я ей сказал, что ты ее любишь и хочешь, чтобы мы жили вместе, а она твердит одно: это невозможно...

– У нее кто-то есть?

– Не знаю, пап, честно, не знаю. Я никогда ее ни с кем не видел. Но на улице на нее смотрят все. Пап, а ты покажешь мне сестру?

– Только если ты ничего не скажешь маме, а то она обидится. Скажет, что ты тоже ее предал...

– Она ничего не узнает.

Вот я и лишился ореола непогрешимости. Отныне сын будет смотреть на меня как на ровню, если не свысока. До тех

пор, пока сам не наломает дров.

– Никогда не отпускай от себя любимую девушку. И будь снисходителен к ее слабостям, – попытался я остатками важности подсушить подмоченную репутацию.

– Да знаю я, пап, знаю! – отвечал выбившийся из-под опеки сын.

Перед уходом он покровительственно похлопал меня по плечу и сказал:

– Извини, конечно, но на твоём месте я бы с мамой никогда так не поступил!

В ответ я затравленно улыбнулся.

35

Наш взаимный демарш не мог не иметь последствий. Первым позвонил я и вежливо поинтересовался у Лины, какого хрена ей надо было посвящать ребенка в недетские тайны. В ответ меня обвинили в дешевом благородстве, шантаже и подстрекательстве. "Да я тебя прикрывал!" – кричал я. "И вынудил меня все ему рассказать!" – кричала она в ответ. "Ну и что он теперь будет о тебе думать?!" – горячился я. "Да если бы не я, ты бы его никогда больше не увидел!" – огрызалась она. "Ну, и как нам теперь смотреть ему в глаза?!" "Это не меня, это тебя надо спрашивать!" "Неужели не понятно, что я хотел как лучше?!" "Да? А в результате опозорил меня перед сыном! Знать тебя не хочу, и не звони мне больше!"

Напоминаю: на дворе ноябрь две тысячи третьего, и время, как всегда, занято только собой – метит себя звуком, словом, краской, запахом. Метит, чтобы найти обратную дорогу.

Я уважил желание сына и через неделю привез его к Нике. Поначалу напряженность преобладала, но когда сестра, с боязливым пальцем во рту наблюдавшая за единокровным братом, вдруг взобралась к нему на колени и стала трогать его нос и щеки, в настороженные сердца хлынул теплый воздух и растопил улыбки. Кончилось тем, что сестра доверила брату свое главное богатство – игрушки, а он за это весь вечер не спускал ее с рук. Ника, глядя на них, растроганно улыбалась и шептала мне:

– Ах, как хорошо, что они встретились, как хорошо! Это так правильно, так справедливо – ведь дети ни в чем не виноваты! У нашей дочки замечательный брат, просто замечательный!

На обратном пути сын признался:

– А она очень даже ничего! Как молодая добрая училка! Вы что, собираетесь пожениться?

– Я тут на днях звонил твоей матери, так вот она сказала, чтобы я больше не звонил. Как ты думаешь, к чему это?

– Не обращай внимания, это она так характер показывает!

– А я думаю, она накручивает себя, чтобы решиться на глупость. Так вот я жду, когда она эту глупость совершит, и тогда женюсь на Веронике. То есть, сделаю еще бдльшую

глупость.

– Ты хочешь сказать, что у меня может появиться отчим?

– Именно.

– Еще чего! Пап, а давай вместе на нее повлияем, а? Я скажу ей, что если она заведет себе кого-нибудь, я уйду из дома и буду жить с тобой!

– Я рад, что ты меня понимаешь, – сурово приветствовал я похвальное здравомыслие сына.

Так в ближайшем окружении Лины появился мой лазутчик. И вот что из его донесений выяснилось.

Ее распорядок дня, куда она могла бы втиснуть свои порочные контакты, разнообразием не отличался. Собственно говоря, образ ее жизни, каким я его знал, остался прежним. Она возвращалась с работы приблизительно в одно и то же время, расправлялась с ужином и занималась хозяйскими делами, до которых не дошли тещины руки. Затем попережку чтение, телевизор и телефон. Да, сыну приходилось несколько раз брать трубку, которая мужским голосом спрашивала маму. Мама удалялась с трубкой в свою комнату и задерживалась там минут пять-десять. А вот с кем она говорит подолгу, так это с тетей Верой. Ну, а спать она ложится около двенадцати. Случается, что распорядок дня нарушается, и тогда она приходит домой поздно – со слабой улыбкой и легким виноградным дыханием. Невзирая на то, что ночует она всегда дома, прорех во времени, в которых она могла спрятать вольности, было хоть отбавляй. И когда не

на шутку озабоченный сын однажды сказал ей: "Имей в виду – с отчимом я жить не буду и уйду к папе!", она ответила: "Это тебя папа подговорил так сказать? Дурачок! Папа тобой манипулирует, чтобы меня вернуть! Передай ему, пусть не старается. И не переживай: мы с тобой как жили вдвоем, так и будем жить".

Что ж, благолепие блуду не помеха. Осталось только дождаться этому подтверждения. Из хороших новостей – сын неожиданно привязался к единокровной сестре, да так что завел привычку приезжать на Мосфильмовскую и гулять с ней. Этому способствовали доброта и искренность Ники, которая в первом же их серьезном разговоре попросила у него прощения за роковую любовь к его отцу и заверила, что никоим образом не претендует на место его матери, которое будь у нее на то желание, давно бы заняла. Сын извинения принял и в дальнейшем отзывался о Нике только одобрительно, из чего следовало, что он подобно своему отцу попал под интеллигентный шарм потенциальной мачехи.

36

Я стал много читать. Но если, например, "Любовь живет три года" с его героем-ортодоксом я еще смог одолеть, то "99 франков" того же автора решительно отверг. Мне были противны сочинения, где герои кокетничают с глубиной человеческого духа, выдавая за них надуманные трудно-

сти, психопатию, дурные привычки, распутные наклонности и прочие дефекты человеческой конструкции. Меня, как ни странно, утешали сентиментальные американские романы, которые если и обнажали недостатки героев, то тут же накидывали на них незатейливый флер оговорок и извинений. Их немудреный реквизит состоял из обнадеживающих аналогий, намеков, параллелей, подсказок и предостережений. В них я задним числом находил простой и обескураживающий смысл потертых временем вещей и поражался, как не понимал его раньше. С ними я раз за разом переживал то, что пережил с женщиной, патологическая любовь к которой изо дня в день подтачивала меня, как болезнь.

Еще я сделал для себя тот вывод, что если каждый и считает свою любовь исключительной и небывалой, то на самом деле человеческая любовь во все времена и для всех людей одинакова, как одинаково опасен вирус гриппа. Только переносится она каждым по-разному. Во всяком случае, у меня она протекал очень тяжело, но бог даст – выздоровеем, и я обрету, наконец, невозмутимость героев американских детективов, которые возвращаясь после очередного мордобоя в отель, принимали душ и меняли рубашку. Не об этом ли твердила несокрушимая американская манера доводить дело до счастливого конца?

Я жил с Никой, но чувствовал себя неуютно. Погас тот жаркий, расторопный огонь, что горел у меня в крови, а углей хватало лишь на сдержанные виноватые совокупления.

Нет, нет, она по-прежнему была мне дорога и по-прежнему засыпала в моих объятиях, но бывая с ней, я думал о той, другой, что убила меня. Где она, с кем она сейчас? Неужели занимается тем же, чем и я? Неужели засыпает в чьих-то объятиях? К горлу подступала дурнота, теряло смысл будущее. Каким же безнадежно пагубным было ее влияние, если я отказался от восхитительных плотских утех, которые сулила мне жизнь с Лерой! Да, отказался. Малодушная правда заключалась в том, что при желании я мог бы устроить переезд Леры в Москву: купил бы ей квартиру в Нижнем, частыми наездами скрасил бы нашу разлуку – задушил бы в объятиях, утопил бы в солидарных слезах и новой беременностью сокрушил бы все ее сомнения. Претерпел бы неудобства первой поры нашего сожительства и приручил бы ее сына-бунтаря – я умею ладить с детьми. Но я не бросился к ней, не протянул руку и позволил ей быть слабой. Спасательный круг из меня получился никудышный. Видно, она это почувствовала и перестала звонить. Подобно Луне она затмила собой светило, примерила на себя ее корону и уплыла во мрак, увлекаемая неумолимыми законами любовной механики. Не потому ли я убивался по ней больше и дольше, чем по другим моим беглянкам? Со слов директора я знаю, что она по-прежнему замужем и по работе к ней претензий нет.

Однажды в марте две тысячи четвертого, после очередной нашей ссоры (с некоторых пор мы стали ссориться, и это, пожалуй, главная новость той обезжиренной жизни, которой

я жил после развода) Ника прижала к себе дочку и сказала:
– Нет, Ксюшенька, не хочет нас папа замуж брать... Не нужны мы ему...

Внезапная и острая, как бритва жалость полоснула меня по самому сердцу. Я порывисто обнял их, прижал к груди и, вдохнув исходящий от них запах семейного очага, постановил:

– Осенью! Мы поженимся осенью!

Ночью я любил Нику долго, бурно и нежно, а наутро проснулся другим человеком. Так бывает, когда потрепанный бурей корабль пересекает рябую нейтральную полосу, входит в лазурную бухту, и морские волки на его борту с удовлетворением ощущают под ногами непривычно послушную палубу. В конце концов, я не маньяк и не психопат, а тот, кому повезло любить и быть любимым. Пришло время воспользоваться тем, что я любим, туризм поменять на ПМЖ и превратиться в эмигранта. Только вот как быть с ностальгией, которая непременно меня замучит? Переиначивая Шарля Кро, скажу вместе с ним словами Софи:

*Любовь пусть станет, наконец,
Забыта, скрыта с нежным вздохом,
Как полный золота ларец
Внизу стены, поросшей мохом. *)*

Одно утешение: не Шарль первый и не я последний.

Мной овладело нервное воодушевление. Еще бы – мой Рубикон был куда шире и глубже, чем тот, который перешел

Цезарь: он всего лишь рвался к власти, а я утопил в нем свою любовь! Я стал с Никой истерически нежен, ненасытно предупредителен и запоздало щедр. Оглянувшись назад, я ужаснулся: нерадивый истопник, я допустил непозволительное охлаждение системы моего сердечного отопления! Представляю, в какую толстую шаль смиренного терпения пришлось кутаться моей бедняжке! Устраняя последствия халатности, я снабжал ее теплом днем и ночью, на кухне и в ванной, на улице и в постели, по телефону и лично. Такая резкая перемена не могла ее не смутить и, не понимая ее причин, она смотрела на меня с удивленной благодарностью и легким испугом. В крайностях всегда есть что-то подозрительное. Я же вел себя искренне, без натуги и с мускулистой уверенностью – то есть, как и положено кузнецу, взявшему в свои руки молот семейного счастья. Прижимая покорную Нику к груди, я строил в темноте грандиозные планы и сам же от них воспламенялся.

– После свадьбы мы обязательно родим мальчика. Ты согласна? – говорил я.

– Согласна, папочка... – бормотала разомлевшая Ника.

– И еще я хочу, чтобы ты не работала. Ты согласна?

– Не согласна...

– Хорошо, можешь работать. Устрою тебя, куда захочешь. Хоть в Академию наук. Хочешь работать в Академии наук?

– Нет, папочка, я хочу работать твоей секретаршей. Иначе ты без меня совсем испортишь желудок...

В выходные утренние часы дремотной неги к нам в кровать в мягких фланелевых штанишках и рубашонке забиралась дочь и устраивалась между нами. Взрыв умиления и родительский восторг подтверждали, что наш будущий брак праведный, своевременный и настоящий.

– Это мой папа! – дразнила дочку Ника, делая попытку меня обнять.

– Нет, мой! – заслоняла меня маленьким тельцем дочь.

– Так, девушки, все! В июле подаем заявление! – распорядился я в конце мая во время очередного дележа.

Иногда из-за спины моей невесты выглядывало вопросительно-удивленное лицо Лины и пыталось обратить на себя внимание. Равнодушие, с которым я встречал молчаливый укор бывшей жены, меня приятно радовало. Скабрзные подробности ее предполагаемых любовных походов теперь меня ничуть не волновали, а удовлетворение от мысли, что кинувшись мне мстить, она узнает, наконец, почему нынче фунт сердечного лиха, грело душу.

"Ах, как хорошо – я здоров, я абсолютно здоров!" – ликовал я.

Ожидая, что будущий акт гражданского состояния станет для меня чем-то вроде больничной выписки с диагнозом: "Годен к новой семейной жизни", я гордился собой. Меня распирало от самодовольного ощущения собственной порядочности, мне льстило считать себя благодетелем и распорядителем судеб двух ручных, беззащитных существ. Попро-

буйте увидеть меня, важного и непререкаемого, в кругу будущей семьи.

– После свадьбы мы поедem на море! – провозглашал я с вечернего дивана.

– А куда? – хотели знать обнимающие меня мать и дочь.

– А куда вы хотите?

– В Африку! – хотела дочь.

– Да, в Африку! – присоединялась мать.

– Хорошо. Тогда в Тунис!

– В Тунис, в Тунис! – целовали меня с двух сторон мои женщины, нежно и осязаемо наполняя меня миром и покоем.

Время от времени я говорил Нике:

– Хочу, что бы ты купила себе что-нибудь этакое!

– Зачем? – поднимала брови Ника. – Я и так вся в подарках!

– И все равно – купи себе что-нибудь!

– Мне ничего не надо, кроме тебя! – отвечала моя будущая женушка. – Знаешь, если ты даже раздумываешь на нас жениться, мы все равно будем тебя любить! Правда, Ксюша?

37

Двадцатого июня я собрался на выпускной вечер сына. Перед этим он предупредил меня, что мама обещала быть. Несколько дней я, опаленный опалой, раздумывал, нужно ли

мне видеть бывшую жену. Конечно, не нужно, но не настолько, чтобы своим отсутствием обидеть сына.

Наступил воскресный вечер, и я отправился навстречу пугливой неизвестности. Хотя какая, к черту, неизвестность – все известно наперед: со мной холодно и в сторону поздороваются, сядут в другом конце зала, а затем мы с разных сторон подойдем к сыну и, поздравляя его, будем натужно улыбаться и отводить глаза. Сын соединит нас на короткое время, прежде чем мы расстанемся навсегда. И все же злая, неприветливая Лина лучше самодовольной, самоуверенной самки, спешащей на случку к новому самцу. Я поймал себя на том, что страшусь встретить именно такую Лину. Но хуже всего, если она назло мне явится со своим новым мужиком (а то, что он у нее есть, твердили мне, несмотря на опровержения сына, собственный опыт, здравый смысл и закон подлости). Случись такое, и мне не останется ничего другого, как развернуться и бежать. И пусть нас рассудит сын.

За полчаса до церемонии я пришел в школу, что в Большом Харитоньевском и, найдя возле зала укромное место, наблюдал оттуда, как мимо меня легким, бледно-румяным вихрем проносятся возбужденные виновники и виновницы торжества. С упругой горячей кожей, заряженные энергией бодрости и сотрясаемые взрывами смеха, они скользили мимо, окатывая меня ощутимыми волнами кипучего энтузиазма. Они несли свою юность легко, играючи, не подозревая, каким богатством владеют и думая, что будут такими все-

гда. Они спешили, молодые и великие, не сознавая, как не сознавали мы, особой важности события. Красовались, ощущая себя нарядными, беспроегрышными правилами игры, в которой им отведено почетное, пожизненное место. Их лица были улыбочиво безмятежны и лишены следов той бури, что бушевала в ту пору в моей душе. Или этой бури кроме меня никто не замечал? Наверное, так и есть, иначе придется признать, что у них, нынешних, нет души. Ах, эти юные невинные прелестницы, эти самоуверенные безусые юнцы! Сколько же им придется пережить, прежде чем их безотчетная радость померкнет, а облака заботы затмят их всесокрушающий эгоизм! Неужели мы были такими же? Двадцать шесть лет отделяли меня от моего выпускного вечера, двадцать пять из них я не был в моей школе. Впрочем, все школы пахнут одинаково: это пресный запах сушеных знаний и скрытного непослушания.

Ко мне направляется сын. Рядом с ним белокожая, волоокая девочка в нежно-лиловом декольте. Видимо, та самая Юля. Важный, снисходительный сын знакомит нас, и меня окидывают быстрым, любопытным взглядом. Даже странно, как у такого старого и глупого отца такой разборчивый сын.

– А где мама? – спрашиваю я.

– Обещала прийти, – отвечает сын и вдруг, глядя мне за плечо, негромко и торжественно объявляет: – А вот и она!

Я оглядываюсь: еще бы ему не гордиться! Эта всем на зависть прекрасная, приподнятая, почти воздушная женщина,

что легко и стремительно торопится к нам – его мать, с которой он живет бок о бок и которая, глядя на него с нежностью, так и норовит его поцеловать. На ней темно-синее с перламутровым отливом платье. Подумать только: в тот единственный раз, когда я на заре жизни танцевал с Ниной, на ней было платье точно такого же цвета! "Да твою ж мать!.." – захлебнулся я эстетическим восторгом.

Она подходит к нам, порозовевшая, целует сына, говорит: "Здравствуй, Юлечка!" и целует ее, а затем смотрит на меня и роняет: "Привет!" Я растерянно улыбаюсь в ответ.

– Ну ладно, мы пойдем, а вы подходите, не задерживайтесь! – кидает нам сын и вместе со спутницей исчезает в зале.

Лина с неожиданным участием спрашивает:

– Как ты?

– Нормально! – глупо улыбаюсь я.

– Как дочка?

– Спасибо, хорошо! – тороплюсь я миновать неудобную тему.

– Почему не женился?

– Ты знаешь почему.

Я не видел ее год с небольшим. Судя по вежливому общению и улыбчивому лицу, с которого исчезли следы запущенной усталости, глубокий безмятежный сон в объятиях чужого мужчины стал ей привычен. Тогда почему она до сих пор носит наше кольцо? Может, по извращенной, мстительной прихоти делает его свидетелем своих новых удоволь-

ствий?

– Какой у нас красивый сын! Весь в тебя! – цепляюсь я за то единственное в этом мире, что нас еще связывает. Ноет желудок, глазам не хватает света, а голосу силы.

– Спасибо, – отвечает она. – Ну что, идем?

Мы проходим в зал и находим свободные места.

– Давно тебя не видела. Хорошо выглядишь! – поворачивается она ко мне.

– Ты тоже совсем не изменилась... – улыбаюсь я через силу. Воротничок рубашки становится мне тесен, и я рывком распускаю удавку галстука.

Мы сидим достаточно близко, и я ощущаю запах ее духов. Она с интересом смотрит на сцену, а я, скосив глаза, на ее лицо и обнаженные руки. Все то же безукоризненное, неподвластное времени лицо, все те же тонкие, слегка смуглые руки. Так и сижу, глядя на сцену, когда моему сыну приходит очередь сказать очередной напыщенный куплет, и аплодирую, когда аплодирует она. По лицу ее блуждает улыбка, руки лежат на сумочке, сумочка – на коленях. Она спокойна и свободна от груза прошлого. Неужели все святоши в ее возрасте так же хороши? Мне хватает сил дотянуть до конца чужого праздника, и я, гримасничая, словно штангист, вздернувший на грудь рекордный вес, выхожу вслед за Линой из зала. Дождавшись сына с его подружкой, мы прощаемся с ними. Оказывается, Лина тоже не хочет участвовать в продолжении.

Покинув школу, мы выходим на улицу, окунаемся в жаркое тепло июньского вечера, и я интересуюсь, куда она держит путь. Домой, отвечает она. Я с замиранием спрашиваю, можно ли ее проводить, и она, чуть помедлив, соглашается. Мы идем рядом, и каждый встречный-поперечный норовит свернуть голову в нашу сторону. Из-за нее, разумеется. Она молчит – видно, моя нынешняя жизнь ее не интересует, я же лихорадочно ищу, о чем спросить, чтобы не вызвать ее недовольства. Наконец спрашиваю о работе, о здоровье родителей, о том, что она думает о дальнейшей учебе сына, потому что если это будет Плехановка, я обязательно помогу. Нет, никакой помощи не надо, отвечает она. Я интересуюсь, когда они переезжают в Голицыно. Родители в начале июля, а они с Костиком пока остаются. Я собираюсь сказать, что обязательно их туда отвезу, но в последний момент пугаюсь, что мне ответят: "Спасибо, у нас есть, кому отвезти". Выбирая безобидные темы, я прыгаю по ним, как по кочкам, страшась увязнуть в трясине молчания. Лина отвечает вяло и односложно. Мы входим в Чистопрудный парк, минуем Архангельский переулок и останавливаемся под могучим вязом напротив ее переливающегося воспоминаниями дома.

– Дальше я сама, – поворачивается ко мне Лина, и я пересохшим языком делаю себе хакакири:

– У тебя кто-то есть?

– Давай не будем об этом! – портит она лицо недовольной гримасой.

– Почему?

– Не люблю праздного любопытства.

– Что же праздного в том, что я хочу знать, жить мне дальше или нет...

– Вот даже как! – бросает она на меня насмешливый взгляд.

– Да, так...

Неловкая пауза, и я говорю:

– Позволь мне кое-что сказать. Для меня это очень важно...

Подумав, она разрешает:

– Хорошо, говори. Только покороче.

– В общем, я кругом виноват.

– Так, дальше!

– Прости, что обижал, что был груб и несправедлив, – зачастил я, страшась, что у нее не хватит терпения. – Прости, что не понял и не пожалел, что не защитил и не наказал этого уродя, что столько лет мучил. Прости, если можешь...

– Всё? – убедившись, что мой фонтан иссяк, деловито спрашивает она.

– Ты же сама сказала – покороче...

Она глядит на меня, словно примериваясь, куда побольнее ударить, и вдруг сникает:

– Мне не за что тебя прощать. Во всем виновата я. А что ты? Ты вел себя, как и положено обманутому мужу – мучился сам и мучил меня. Сколько раз я говорила себе – все, я так

больше не могу, я должна уйти, но не уходила, потому что не хотела лишать Костика любимого отца. И пусть он меня простит, но твою дочь я стерпеть не смогла. Господи, знала ведь что придется об этом говорить, и все равно пошла с тобой! Все, хватит, прощай!

– Нет! Пстой! Не уходи! – выкрикиваю я, пытаюсь схватить ее за руку.

– Что еще? – отдергивает она руку.

– Пстой! Подожди! Дай посмотреть на тебя еще немного! Я ведь тебя целую вечность не видел! Да, да, я знаю, я тебе противен! Согласен, я это заслужил, но посмотреть на тебя в последний раз я могу?

– Как все поменялось... – устало смотрит она на меня. – Почему же ты не услышал меня раньше?

– Да потому что я человек, а не Иисус Христос, вот почему! А разве ты не также себя ведешь?! Ведь вот я к тебе зываю, а ты меня не слышишь, потому что ослеплена обидой! Я глухой, а ты слепая, и страдает от этого наш сын!

– Ты прав: непутевые ему достались родители. Ну, ничего, когда-нибудь он нас рассудит. Я лишь об одном прошу – рассказывай ему о нас только хорошее. У нас есть, что ему рассказать.

– Еще бы! – воодушевляюсь я. – А помнишь, как мы с тобой целовались в Немчиновке на чердаке? А наше озеро? А нашу поляну?

Лина язвительно усмехается:

– До чего же все мужчины одинаковые! Вот и ты пытаешься играть на тех же струнах, что и Иван...

Неожиданно она смолкает, и пока я лихорадочно соображаю, как мне преодолеть ее насмешливую неприязнь, с которой она оборачивает против меня все мои реплики, с ней что-то происходит: плечи неуловимо расправляются, грудь воинственно подбирается, лицо слегка краснеет, глаза прищуриваются, и я слышу:

– Ладно. Раз уж и он здесь, так и быть, расскажу тебе кое-что. Авось, после этого оставишь меня в покое...

38

Так и быть, выйду за тебя замуж. Так и быть, рожу тебе ребенка. Так и быть, изменю, а потом признаюсь. Так и быть, поживу с тобой, расскажу очередную гадость, а потом посмотрю, как ты будешь корчиться. Не женщина, а сплошное одолжение! Знал бы двадцать лет назад, что меня ждет, ни за что бы не побежал знакомиться!

– В общем, так: не было ни насилия, ни чудовища по имени Иван, – начала она, сосредоточив взгляд на письменной версии своей жизни, что расположилась где-то слева от меня. – Эту сказку я сочинила в расчете на твою жалость... И не придумала ничего умнее, чем сделать из достойного человека монстра... Просто взяла и оболгала первую любовь. И я рада, что могу теперь вернуть ей доброе имя...

Прочувствованная пауза, и далее я услышал:

На самом деле она не насмехалась над Иваном и не унижала его – наоборот, обрадовалась ему. Да, вначале осыпала его упреками, но он сказал только одно: ты не смогла бы там жить, не смогла топить печку, носить воду из колодца, греметь закопченными кастрюлями, мыться под умывальником, ходить в кино в деревянный дом культуры, а в туалет на улицу. Он когда все это увидел, то понял, что девятнадцатилетняя московская барынька, столкнувшись с провинциальной реальностью, сломается, и потому решил избавиться от разочарования и ее, и себя. Пожертвовал, можно сказать, собой. Поступил очень благородно, и она, для которой мой Подольск – уже деревня, оценила это. И никуда он ее с собой не звал – он лишь хотел ее увидеть. Две недели не спускал с нее восхищенных глаз – мне ли не знать, какая она была пятнадцать лет назад! Вел себя очень достойно и порядочно, а когда она к слову и не к слову твердила, что любит меня, смотрел на нее с грустной улыбкой. Она сразу сказала, что не сможет от меня уйти, а он сказал, что не сможет бросить сына и дочь. Только вот человек думает одно, а поступает почему-то наоборот. Так и она: любила меня, но вдруг решила, что просто обязана его отблагодарить. И за общежитие, где он не позволил себе лишнего, и за ее московский покой, и за его самоотверженную верность, и даже за то, что назло ему вышла за меня замуж. Ну, вот просто обязана, и все тут! Потому и пошла к нему в гостиницу. Такое вот за-

тмение мозга...

Она примолкла и отвернулась. Помолчав, продолжила:

– Пока сидели в ресторане, никак не могла собраться с духом... И тогда выпила для храбрости рюмку коньяка и решилась. Поднялась с ним в номер, где оставила кофту и сумку, и без всяких предисловий объявила, что хочу быть с ним прямо здесь и сейчас. Он растерялся, стал отговаривать, и тогда я скинула туфли, легла, задрала подол и спустила трусы. И он не устоял... И никто бы не устоял... Так что сам видишь – все было как я рассказала, только не он мной овладел, а я им...

Тут она взглянула на меня и, видно, не зная, чего ждать, отступила на шаг. Я же машинально посмотрел на часы: двадцать ноль-ноль. Это значит, что потребовалось пятнадцать лет, двадцать три дня и двадцать часов, чтобы тайное стало явным. Мне бы наполниться благородным возмущением, мне бы вознегодовать, но вместо этого я испытал неуместное удовлетворение: вот и замкнулись силовые линии измены, сложившись в угаданный мною узор, и не было в его внятном, скучном рисунке места для ее затейливых завитушек. Сунув руки в карманы, я пожал плечами:

– А я всегда знал, что ты была с ним по собственной воле и в твою сказку никогда не верил. Мне только непонятно зачем ты столько лет меня терпела. Только не говори про виноватую любовь! Думаю, все куда проще: ты не захотела ничего менять, и жизнь с обманутым мужем тебя вполне устраивала.

Не удивительно, что в результате мы пришли к тому, с чего начали: я тебя, как всегда люблю, а ты меня, как всегда нет.

– Любишь?! – вскипели свинцовым негодованием ее глаза. – И потому завел на стороне дочь?!

– А может, потому что ее мать всегда была со мной честна? – охладил я ее пыл.

Вцепившись белыми пальцами в сумочку так, будто это было мое горло, она обожгла меня гневным серым пламенем. Я выдержал ее взгляд, и лицо ее вдруг разгладилось, пламя погасло, пальцы ослабли.

– Тут ты прав – хватит врать.

– Тогда продолжай.

– Да ради бога! – скривилась она. – Только имей в виду, если тебе не понравится, ты сам напросился!

– Договорились.

Помолчав, она продолжила:

– В общем, когда он стал меня целовать, я сразу поняла, что погорячилась. Только было уже поздно. И я глаза закрыла и велела себе терпеть. Слава богу, он как-то быстро и деликатно все сделал. Между прочим, если тебе это так важно, он был аккуратен, и я сказала правду: он был во мне, но я чистая. Если, конечно, не считать двух луж на животе, – покраснела она. – В общем, после первого раза мы разделись, и он стал гладить меня, целовать, душу себе выворачивать, а я смотрела на него – тело как тело, ничего особенного, только волосатое очень, и бантик так себе. В общем, полное разоча-

рование. И я чтобы отвлечься, представила, как ты ходишь по квартире, как укладываешь Костика, как поглядываешь на часы и волнуешься, почему меня так долго нет. Представила и подумала – знал бы ты, где я сейчас и чем занимаюсь! А чтобы хоть как-то оправдаться, твержу себе, что делаю это не из удовольствия, а из благодарности. И еще пытаюсь вспомнить, как ты меня обижал. Пытаюсь и не могу – вспоминается только хорошее. Смешно сказать: меня во все места целует другой мужчина, а я думаю о тебе! Представляю, как вернусь домой, смою под душем его поцелуи и буду любить одного тебя. Вот дура-то была, прости господи! – заключила она с сердцем. – В общем, не стала тянуть и подставилась второй раз. Вот так и рассчиталась...

Предъявив недостающий позвонок, что был изъят ею из позвоночника змеи измены и заменен протезом замыкания и химерой истерики, она уставилась вдаль. Я огляделся: тот же парк и то же место под рослым вязом. Днем – изумрудный великан, ночью – сонный брюнет: шевелюра его потемнела, чуткие уши-листья обвисли. В воздухе, придавленном его сухой грузной сенью есть место и для сдержанного ворчания машин, и для продолжительной, неудобной паузы. Лина вернула взгляд из дальней дали и с насмешливой опаской спросила:

– Ну что, убьешь теперь?

– Обязательно, – проглотил я неподатливый ком. – Но сначала хочу знать, что было дальше.

– Надо же, какой любопытный... – глянула она на меня и продолжила: – А дальше я вскочила и стала одеваться, а он сказал, что готов развестись и быть со мной, а я сказала, что была с ним из благодарности, и что мы никогда больше не увидимся, вот что было дальше! Хочешь еще?

– Да, хочу.

Короче, он жутко расстроился – решил, наверное, что раз не смог ни разу удовлетворить, значит, не понравился. Жалко так улыбнулся и попросил дать ему третью попытку, чтобы доказать, что он не слабак. Она отказалась. Он упал на колени и стал уговаривать, но она сказала: нет, я и так ради тебя любимого мужа обманула. А он твердит – давай ляжем, давай ляжем! Она ему – это ничего не изменит, а он – вот увидишь, изменит! Она ему – нет, а он – да! Вцепился в нее и не отпускает. И ей вдруг стало так противно! Говорит ему: ты, конечно, можешь взять меня силой, но тогда между нами точно все будет кончено! Ты этого хочешь? Он опомнился, и она увидела, как его безумные глаза наполняются слезами. И он бормочет: не представляю, как буду жить без тебя... В общем, оделись и спустились вниз. На него было больно смотреть – такой он был потерянный и несчастный! Пока ждали такси, он курил, а она успокаивала себя, что два половых акта за неиспорченную жизнь – не такая уж большая цена. Напоследок он сунул ей бумажку со своим телефоном. Сказал, что будет ждать ее звонка столько, сколько надо...

Она примолкла и снова уставилась в полюбившуюся ей

даль. Наглядевшись, продолжила без приглашения:

– В такси храбрилась – не я первая, не я последняя! Живут же с этим другие, и ничего! Но ближе к дому скисла: никак не могла придумать, что скажу тебе, когда приду... А когда спряталась в ванной и обнаружила в пупке его сперму, тут-то и поняла, что натворила! Поняла, что жить дальше как ни в чем не бывало не получится. И давай рыдать! Смешно – стою под душем, рыдаю, а сама придумываю, как тебя обмануть... В общем, когда пришло время выходить, решила – скажу, что старый знакомый обманом заманил к себе и изнасиловал... Как видишь, истерика для зачинщицы – непозволительная роскошь...

Мое воображение – мой палач. Скинув с нее темно-синее с перламутровым отливом платье, я уложил ее чернильницей вверх, окунул туда перо сибирского борзописца и заставил их давать письменные показания. Невыносимое зрелище! Спеша избавиться от их чернильно-промокательного союза, я угрюмо потребовал:

– Ладно, давай дальше.

Лицо ее стало серьезным, настоящим.

– А что дальше... Дальше ты ушел, а потом вернулся – злой, нелюдимый, чужой... На меня не глядишь и к Костику охладел... А я твержу себе – все образуется, обязательно образуется, надо только потерпеть, и все наладится! И когда ты потом первый раз был со мной, я почувствовала, что ты по-прежнему меня любишь. Пусть и с черной тоской в глазах,

но любишь. И я сказала себе: все унижения снесу, всех его баб вытерплю, только бы быть рядом! Я же твоих женщин за версту чуяла! Говорила себе: ладно, пусть, заслужила, только бы он после них возвращался ко мне. Так и жила двенадцать лет, пока мне не рассказали про твою секретаршу. Все рассказали – и сколько ей лет, и какая она миленькая, и на каком месяце, и что ты квартиру ей купил, и что под ручку с ней открыто гуляешь и целуешь при всех. Вот это был удар, так удар! Тут уж я не стерпела – ушла... А когда она вместо меня дочь родила, поняла, что бог меня пусть и с опозданием, но наказал. Возненавидела тебя и ожесточилась. Когда совсем плохо было, усмехалась и говорила себе: ничего, зато я первая ему изменила!..

Она скользнула по мне невидящим взглядом:

– Что-то меня не туда занесло. Не знаешь, почему? А я знаю. Потому что мы никогда об этом не говорили. А надо было. Надо было сесть и либо разругаться в пух и прах, либо кинуться друг другу в объятия. Только я всегда боялась такого разговора: кто знает, чем бы он закончился. А так жили и жили... Кстати, когда мне было невмоготу, я звонила Ивану, и он меня утешал. Жаловался, что без меня не живет, а существует. Я знаю, он меня боготворил, потому что любил сердцем, а не членом, как ты. И если хочешь знать, больше мы с ним не виделись...

Ее взгляд обнаружил мое присутствие.

– А все же жаль, что ты так плохо думал обо мне – мол,

терпела лишь потому, что не хотела ничего менять! Обидно! Не оценил ты мои молчаливые муки, не оценил... Выходит, зря я страдала. А я-то считала... А впрочем, что я тут перед тобой плачусь – все равно не поймешь! Ну, и ладно. Теперь мне все равно, что ты обо мне думаешь. Слава богу, сегодня я дышу, радуюсь солнцу, не плачу и прекрасно сплю. Хочешь знать с кем?

– Не хочу, – отвернулся я.

– А зря! Ах, какой мужчина! Не мужчина, а вторая молодость! Между прочим, замуж зовет! Как думаешь, соглашаться?

– Тебе решать, – сурово обронил я.

– Да? Ну, тогда соглашусь.

А дальше я услышал и вовсе отчаянные вещи. Пропущенные через горнило моего воспаленного воображения, они выглядели приблизительно так:

...Он богат, разведен и на пять лет старше. Она познакомилась с ним на работе, куда он приезжал по поводу аудита, и уже через неделю стала его любовницей. Привезя ее к себе в первый раз, он раздел ее и долго любовался, а потом повел в ванную и, отклоняя протесты, побрил ей лобок. Обласкав ее новое публичное лоно, московский цирюльник там же, в ванной подарил ей многообещающий оргазм, после чего спросил, почему она развелась. Узнав, что из-за измены мужа, он сказал, что только похотливое и неразборчивое животное может изменять такой прекрасной и страстной

женщине. Когда они передохнули, он попросил освежить его лобок. Она до сих пор помнит, как оказалась лицом к лицу с его хищным, налитым кровью фаллосом. Помнит, как со жгучим стыдом и тайным любопытством разглядывала коряво вылепленную плоть, в которой не было красоты, а только поджарая ребристость и неотесанная хрящеватость. Придерживая и физически ощущая его тугую податливую муку, она жалела его, а закончив бритье, неожиданно потянулась к нему и без запинки проделала то, что никогда в жизни не делала. Доведя распаленного уродца до рвоты, она большим пальцем правой руки ощутила, как через его набухшую трахею в нее толчками устремилась сперма и смыла ее прежнюю мораль. И вот они вместе уже год, и между ними никаких запретов, отчего она принимает его дары всеми имеющимися у нее отверстиями. Нет, она его не любит, она лишь воздаст ему должное...

Не слишком ли много откровений для одного вечера, и должен ли я верить тому, что она несет? Нет, не должен. А между тем именно что-то подобное мерещилось мне одинокими холодными ночами. Одно из двух: либо я ее совсем не знаю, либо она, наконец, узнала себя, и тогда мне конец.

...Когда она приходит нему, он набрасывается на нее прямо в прихожей, прижимает к стенке, и она так остро, так ярко его чувствует! Стонет от удовольствия, а он бормочет, что в ее волосах запутался ветер. Потом кровать и основательное трехпозиционное совокупление. А дальше куда заведет игра

воображения. Например, он очень любит, когда она разгуливает по квартире голой. Ходит за ней по пятам, восхищается, трогает, гладит, обнимает, а потом встает на колени, целует ее бедра и, доведя себя и ее до неистовства, берет тут же, на полу. Он такой сильный, такой неутомимый! И очень опытный. В каких только позах она не побывала! Особенно она любит закидывать ноги ему на плечи: он гладит их, целует и говорит, что у него на плечах самые красивые ноги на свете!..

Ее слова стучали по моим барабанным перепонкам, словно град по подоконнику и отскакивали от них с хлестким, металлическим боем. Чего она добивается? Хочет, чтобы я ее здесь, на этом месте задушил?!

...А еще у него есть такие резиновые штучки. Он ее ими разогревает, а потом пристраивается и доводит до безумия. Со мной-то она все боялась Костика разбудить, а в его хоромах кричи – не хочу. Поразительно, до чего он ловок: одновременно орудует своим Навуходносором, дилдосом, играет с ее грудью, да еще умудряется целовать! Настоящий Юлий Цезарь! А иногда он подставляет ей свой зад, и она резиновой штучкой доводит его до крика, а после нежно жалеет и делает минет. Со мной у нее все оргазмы были на один фасон, а он ей показал, какая между ними разница, и когда она эту разницу прочувствовала, довел до мокрого оргазма, о котором она раньше слыхом не слыхивала. Это было что-то!..

Приятно возбужденная, она глядела на мое вытянутое ли-

цо, словно спрашивая себя, словами какого еще калибра может пробить мою напряженную невозмутимость. Вдруг глаза ее вспыхнули отчаянным, преступным вдохновением.

...Однажды он предложил ей игру. Она согласилась, и он мягкими ремнями привязал ее к кровати. Она лежала, распятая, а он ходил вокруг нее с опасной улыбкой и примеривался. Она занервничала, захныкала, и тогда он стал щипать, скручивать и кусать соски – все больше и больше. Потом мучил самым большим фаллосом, а потом впился между ног и до крови укусил. Какое там кричала: она визжала от боли! Визжала и вопила, что он урод и садист. И тогда он с довольной улыбкой зажал ей рот и стал насиловать. Она мычала, дергалась и чувствовала себя так мерзко, так унижительно, пока неожиданно и против воли не пережила оргазм – отвратительный, мучительно резкий и в то же время удивительно милосердный. За ним второй и третий. Непередаваемые ощущения: как будто кто-то мучил и жалел ее одновременно! Он освободил ей рот, преобразился в самую деликатность, и она пережила четвертый, теперь уже благодатный оргазм. Как он потом объяснил, это были так называемые антиоргазмы. Закончив, он предъявил своего перемазанного кровью палача и пошутил, что лишил ее невинности. Она лежала, пустая и одуревшая, а он зализывал и нежно жалел ее рану. Так что теперь она знает все виды оргазмов и может выбирать тот, который больше подходит ее настроению. Ах, да что говорить – она с ним такую школу прошла, такое испы-

тала! Кстати, он мечтает о ребенке. Что ж, она не против. Сестра у Костика есть, пусть еще и братик будет. Но только после свадьбы. Что у нас сегодня – почти июль? Значит, если она завтра соглашается, то на следующий год где-то в начале мая и родит. И еще она считает, что после родов я обязательно с ним должен познакомиться: как-никак родственниками будем...

– Ну все, хватит! – решительно перебил я ее. – Вот что я тебе скажу: теперь, когда мы все выяснили и не разругались в пух и прах, что мешает нам броситься друг другу в объятия?

– Ты что, идиот?! – возмущенно уставилась она на меня. – Я же русским языком сказала – я сплю с другим, я собираюсь за него замуж, я счастлива и почти беременна! Что тут непонятного?! Всё, мы разведены, мы чужие, и я знать тебя больше не желаю! Отстань от меня со своей любовью и женись, наконец, на расчестной-пречестной матери твоей дочери! Не для того я с тобой разводилась, чтобы ты ходил холостой! И не звони мне больше! – звенящей птицей взмыл ее голос, и она, резко повернувшись, быстро ушла, оставив меня оторопело смотреть вслед ее невесомому, темно-синему с перламутровым отливом бегству.

"...Твою мать, твою ж мать! Нет, вы когда-нибудь видали таких святых идиотов, а? Она, видите ли, специально разве-

лась, чтобы я женился на матери моей дочери! Ну, не дура ли?!" – бежал я по городу, не ведая, куда и зачем. Инстинктивно взяв курс на Лужники, я двигался туда замысловатым путем: едва в моем движении намечалась прямота, как я тут же от нее отказывался в пользу ломаной уклончивости.

Солнце улеглось на крыши и назойливо лезло в глаза, так что мне приходилось заслоняться от него другой стороной улицы. Город был во власти тополиного пуха, и он скапливался у запруд поребриков, в изломах домов, возле мало-мальски выступающих из земли препятствий, которые в другое время могли заявить о своем существовании лишь заставив о себя споткнуться, а теперь вдруг стали укрытием для любопытных, живых, легких на подъем странников. Пух толпился у стен, фундаментов, ларьков, застревал в силках травы, бился белым телом о железные прутья решеток, перекатывался через тротуары и медленно кочевал по городу, сбиваясь в семьи, набираясь ватной плотности и веса. Вместе с пухом кочевали самонадеянные, разодетые самым легкомысленным образом люди. У всех были деловитые потемневшие лица, у всех была цель, и все ее скрывали.

Насытившись слепым, безутешным бегством, я взял такси и высадился у дома Ники, когда на земле уже сгустилась тьма, а подслеповатые облака в бледно-сиреновом небе теряли последние запасы света. Когда я вошел, Ника пытливо посмотрела на меня:

– Что-то случилось?

– Нет, нет, все в порядке! – поспешил я ее успокоить. – Просто долго шел пешком!

Когда мы легли, она красноречиво прильнула ко мне.

– Прости, Никуша, что-то я сегодня не в форме. Ты не обидишься? – обнял я ее, и когда она заснула, вернулся к нашему с Линой разговору.

Итак, вот правда, которую я ждал годами и как всякая правда она обескураживающе проста и бесцеремонна: женщина, с которой я пылинки сдувал, придумала повод и легла под чужого мужика. Иначе она, видите ли, не могла. Бывают, видите ли, долги, за которые приходится расплачиваться таким вот похабным образом. Дура, незатейливая сказочница! Да будет ей известно, что наука давным-давно занесла ее случай в антологию клинических казусов. Как сказано в одном старом английском фильме – *незаконченное не забывается*. По сути, измена ее была предreshена. Не измени она через восемь лет, изменила бы через десять, пятнадцать, двадцать. Сама того не ведая, она реализовала то, что намечтала много лет назад – то есть, поступила как Софи и Люси. И от меня здесь ничего не зависело: будь я хоть Аполлон – в потемках женской психопатии все боги серы. И ее нынешняя развратная жизнь есть продолжение той порочной траектории, по которой однажды покатила ее покосившаяся натура. Не прибитая к наклонной плоскости соблазна гвоздями моральных устоев, она способна лишь катиться вниз, и того, кто встанет на ее пути она собьет, как кеглю!

Я долго еще ворочался на горячих углях подробностей. Мысли ветвились, плодились, наливались горечью, пока не уперлись в логичный вопрос: а что сделал бы я, доведись мне в ту пору встретить Нину? Ровным счетом ничего, с ходу одолел я его, лишний раз подтвердив первосортное качество моей любви в отличие от низкопробного суррогата моей бывшей. С этим чувством жалкого превосходства и заснул, и первой в мой сон всплыла на гостиничной кровати обнаженная Лина...

Утром я встал, как на войну и весь день был нетерпелив и невнимателен. Кое-как дожив до вечера, поехал к себе на квартиру и, бросив машину возле дома, отправился к Чистым прудам. Было свежо и ясно. Творя колдовство, я трижды обошел пруд. Поразительное дело, но то, что я собирался сделать в ближайшие полчаса никого из окружающих, кажется, не интересовало. О, этот безучастный мир невнимательных людей! Не хочу быть его частью!

Достав телефон, я позвонил Лине и услышал раздраженное:

- Я же сказала мне больше не звонить!
- Позволь зайти на минутку, я тут рядом! – заторопился я.
- Ты что, издеваешься? – с обидчивым удивлением воскликнула она.
- Ну, пожалуйста, ну ради нашего сына! – взмолился я.
- Я сказала – нет! – отрезала она.
- Полина, если ты не позволишь мне зайти, я вернусь до-

мой и шагнул с балкона. Я не шучу, – неожиданно отчеканил я и почувствовал на своем горле железную хватку внезапной паники. Задержавшись с ответом на несколько беспощадных секунд, она с легкой тревогой спросила:

– Что-то случилось?

– Да, случилось.

– Хорошо, заходи, – помедлив, разрешила она.

Накапливая волнение и разгоняя сердце, я вышел на Чистопрудный бульвар и устремился к цели. Впереди меня шествовала девушка: светло-русый скачущий хвост волос, шоколадная кожаная куртка до пояса, бежевый свитерок навыпуск, короткая юбка, тонкие лодыжки, туфли на низких каблуках. Узкой спиной, гибкой, нестойкой грацией она была пронзительно похожа на Лину. Однолюб Гоша сказал бы, что, к сожалению, все красивые девчонки родились на двадцать лет позже него. Я же скажу, что мудреющая грусть не в таких вот девушках, а в музыкальном пространстве Баха, наполненном джазовым одиночеством. И все же слава тебе, славная девушка! Будь долго и заслуженно счастлива!

Моя походка незаметно окрепла и обрела ту пружинистую вкрадчивость, с которой я когда-то подбирался к щиту. Возникло чувство, что у меня вот-вот вырастут крылья, и я, разбежавшись, взлечу, услышу их гладкий посвист и испытаю радость самопознания. Ну же, ну! Отпусти, земля, расступись, воздух, прими меня, голубая бездна, и наполни неземным восторгом!

Парю над двором. Вижу внизу парня, идущего в сторону мусорных баков. Он помахивает веником засохших роз, и розы роняют на землю лепестки сухих кровавых слез. Надо было купить цветы, спохватываюсь я. Знакомый подъезд. Я проникаю внутрь и взлетаю на пятый этаж. Ее дверь. Я достаю из нагрудного кармана пиджака кольцо, втискиваю его на место и, ощущая его новую, взволнованную власть, жму стертую кнопку звонка. Дверь почти тут же открывается. Лина: джинсы, футболка, Немчиновка, салатный вокзал, исступленное лето, голубое озеро, дымчато-серые глаза, очарованный чердак. Позади нее застыли теща, тесть и сын. Из глубины наполненной золотым закатным светом гостиной выглядывает массивный обеденный стол.

"Что случилось?" – с беспокойством спрашивают его прожигавшие по бокам вальяжные, боярской породы стулья.

"Что там еще?" – кряхтит покладистый, степенный диван.

"Да, да, что там еще?" – интересуются два насупленных кресла.

"Не что, а кто!" – ворчит ревнивый к чужим новостям телевизор.

"И кто же?" – позвякивает чревохрустальный сервант.

"Кто же, кто же, кто же?" – перекликаются скрытые вуалью занавесок приоконные цветы, репродукции "Подсолнухов", "Звездной ночи" Ван Гога и "Пейзажа с водяными лилиями" Клода Моне, оригинальная картина "Сирень" неизвестного арбатского художника, большая фотография нас с

Линой, прильнувших головами к нашему двухлетнему сыну и несколько фотографий из истории нашего рода.

– Что случилось? – тревожно спрашивает Лина, глядя в мое возбужденное лицо.

– Дай твою правую руку! – нетерпеливо прошу я.

– Зачем? – смотрит она на меня своим супрематическим взглядом.

– Ну, дай, дай, не бойся!

Помедлив, она протягивает боязливую руку. Я прикладываю ее узкую, нежную ладонь к своей, так чтобы соприкоснулись кольца и торопливо говорю:

– Ты не против, если медовый месяц мы проведем в Немчиновке?

Лицо ее вытягивается, глаза широко раскрываются и внезапно наполняются хрустальной влагой. Она смотрит на меня, не мигая, и ее сомкнутые губы начинают дрожать. Несколько секунд она колеблется, затем прижимает кулачки к груди и... тихо входит в мои объятия!

– Я люблю тебя, Линушка, люблю, не знаю как, и мне все равно, с кем ты была! – бережно сжимаю я ее.

– Я всегда была только твоя... – всхлипывает она у меня на плече.

– Глаза твои чисты и прекрасны, как ангельские помыслы... Они как кристальные озера, обласканные солнечными лучами, как яркие путеводные звезды, как колдовские огни, сбивающие с пути... Они глашатаи твоих повелений, труба-

дуры твоих чувств, зеркала твоей души и душа твоего зазеркалья... – бормочу я, и мир дрожит и переливается передо мной.

Я вижу растерянного тестя, вижу взволнованную тещу, вижу, как круто повернувшись, убегает в гостиную сын. Правильно, сынок: незачем тебе видеть, как плачет твой отец. А может, ты и сам решил всплакнуть?

– Линушка, милая, пойдем домой... – шепчу я. – Насо-
всем, навсегда...

Лина порывисто обхватывает меня и прижимается мокрой щекой к моему лицу.

– Я люблю тебя, Юрочка, люблю, мой родной! – объявляет она растроганному миру, и слова ее подобны прикосновению волшебной кисти, от которого безрадостная картина моей жизни вдруг озаряется живительным радужным светом...

40

Когда мы в тот памятный вечер вернулись домой и я, упав на колени, принялся каяться в бесчисленных изменах, Лина опустилась рядом и сказала, что не вправе меня судить, потому что в первую очередь виновата она, и что если бы не она, я никогда бы ей не изменил. Третьей судьей выбрали диван, и через пять минут моя бывшая жена стала моей любовницей, чтобы в ближайшем будущем стать моей новой женой.

Раздевая ее, я переживал, как перед нашей первой брачной ночью, когда вопреки всем приметам страшился обнаружить, что она не девственница. Выходило, что он никуда не делся, мой крошечный демон мазохизма, и я всего лишь научился уживаться с ним, да так успешно, что обнаружуся у Лины гладкий лобок, и меня вполне устроил бы ее смущенный смешок и беглая ссылка на модную паховую депиляцию. Не объяснять же ей, что мода эта пошла от проституток. А что тут удивительного? Именно свободные женщины всегда навязывали обществу свои вкусы, а не наоборот. Найдя ее лобок нетронутым, я тут же подумал о том, о чем уже думал ночью: тогда откуда она набралась тех непотребных подробностей, из которых сложился ее рассказ? Не скрою: я отнесся к нему всерьез и, отправляясь к ней, надеялся только на молчаливый призыв ее кольца – такого же красноречивого, как скрещенные пальцы праведной лгуны.

После того как мы иступленно и самозабвенно покончили с трехлетним воздержанием, я вместо того чтобы пребывать в долгожданной нирване, потащил Лину в прошлое. Зачем? Да затем, что без ясного прошлого и смерть не в радость! Поцеловав ее пальчик с кольцом, я признался, что если бы не оно, я вряд ли решился бы к ней пойти: слишком много узнал накануне нового. Лина пояснила, что кроме обручального у кольца есть еще и практическое назначение: оно как холодный душ на горячие мужские головы (как буд-то кольцо на женской руке когда-нибудь кого-то останавли-

вало!). Тогда я спросил, зачем она решила рассказать про Ивана, и она ответила, что давно хотела, да все случая подходящего не было, а тут вдруг решила – была, не была! Подумала, посмотрим, как я после этого запою. А когда во всем призналась, то очнулась уже за балконом. Стояла и глядела вниз. И вдруг пальцы разжались, и ее закрутило и понесло! Ее несет, а она чуть не плачет: что она несет, это же конец всему! И вдруг мысль: и ладно, и пусть, так ей и надо! Дома потом места не могла себе найти: как я смог вынести эту чудовищную чушь!..

– Так, значит, этот твой важный жених...

– Господи, неужели ты поверил... – расслабленно бормотнула Лина с моей груди (лично я на ее месте задохнулся бы от возмущения!).

– Вовсе нет! – горячо заверил я ее. – Как только услышал про оральный секс, так сразу все и понял. Скорее лев станет вегетарианцем, чем ты согласишься питаться мужским семенем! И все же, если не секрет, откуда столь нескромные подробности?

Она спрятала глаза и сообщила, что начиталась неприличных женских книжек и насмотрелась у Верки по видею (опять Верка, опять запах гари!).

– А про антиоргазмы в книжке прочитала. Если хочешь, можем попробовать. Это просто: я буду выдумывать, как изменяла, а ты за это будешь меня мучить...

До чего же ее объяснения расходятся с моими наблюде-

ниями! Мне бы надо верить себе, а я верю ей. Видно, таков мой удел – верить и любить. А что мне остается? Так уж повелось: некрасивые женщины – богу, а красивые – миру. Раз не поселился у нее под дверью я, там вполне мог поселиться кто-то другой.

Она уткнулась в меня и затихла, и я предупредил ее, что когда она в следующий раз меня бросит, я докажу ей, что балкон – это не пустая угроза, а трамплин в пучину угрызений ее совести.

– Да, да, поняла, – потерлась она щекой о мое плечо. – А знаешь, о чем я мечтала?

– О чем?

– Чтобы ты меня обнюхал...

Не удивительно: о том же самом мечтал и я. Вдыхая запах ворованных папирусов, мечтал об Александрийской библиотеке. Исполнив с давно забытым усердием нашу общую мечту, я подобрался к дорогому лицу и заглянул в глаза.

– Песик мой долгожданный, лизунчик мой ненаглядный, как же я истосковалась по тебе, любимому! – влажно мерцали ее глаза. И далее с иронией: – Ну, и как тебе мой гербарий?

– Свеж, как никогда! – не моргнув глазом, объявил я.

Слава богу, папирусом там и не пахло, зато сквозь ровный душистый фон кремов и духов, сквозь узнаваемое, незабываемое, родное тепло пробивался словно тихий шорох сквозь уличный шум тонкий запах цветущей рябины. К этому вре-

мении за мной числился долг, и я бы с превеликой охотой отдал его оглушенной счастьем Лине, если бы не память о ее родовых и послеродовых муках. Только сдается мне, за меня уже все решили: когда полчаса назад мы упали на диван, и я распростер над ней заботливые крылья, она обхватила меня руками и ногами и удержала коротким и решительным "До конца!" Получается, она свой выбор сделала: решила долг взыскать и тем погасить дебетовую задолженность. Да будет так.

В дальнейшем она впитывала мои жемчужные выплески с тем же шипучим рвением, с каким морской песок поглощает мерцающее серебро ночной волны. И была ночь ночей, озаренная тихим светом луны и колдовским сиянием ее глаз, и величавая как при сотворении мира тишина, и беззвучный, ослепительный взрыв, ставший, как я понимаю, началом новой жизни.

41

Чтобы двинуться в будущее, следовало реабилитировать прошлое, и я, подбирая и подвязывая оборванные нити, принялся восстанавливать *ткань времени* нашей совместной жизни. На удивление неохотно в этом участвуя, Лина нет-нет, да и роняла:

– Прости меня, Юрочка, ради бога...

– За что?! – с яростной нежностью сжимал я ее.

– За все... – многозначительно вздыхала она.

– Это был сон, это был плохой сон! – тискал я ее, словно желая выдавить из тюбика ее памяти пасту плохих воспоминаний. Изгоняя злого духа далекой измены, я говорил ей, что это были не мы, а наши далекие двойники. Утверждал, что с тех пор стал новым наш скелет, наши мышцы и кишечник, что пятнадцать раз сменились наши легкие, десятки раз обновлялись кожа, ногти, волосы и кровь, что сменились пятнадцать поколений печени, а от желудка и вовсе остались одни воспоминания, что очистилась душа и стала милосердной память. Всё изменилось, кроме наших сердец: они как любили, так и любят. Лина соглашалась, но в былое возвращалась без особой охоты, а в будущее смотрела без должного рвения. В ее поведении не было благодарного выдоха, беспечного глаза, долгожданного облегчения, а было что-то истеричное и временное. Так поглядывая на часы, тешится с любовником неверная жена.

После энергичной трехдневной разминки она с бесшабашной удалью провозгласила: "Хочу быть бесстыжей!" и заставила побрить ей лобок. Я подчинился и дословно воспроизвел сцену в ванной: оголил и обласкал припухший жемчужный рубец, после чего подарил ей оглушительный, как гром и многократный, как эхо оргазм. Утомленно разогнувшись, она повернулась ко мне – глаза ее сияли. Я залюбовался ею: узкие сахарные плечи и бедра, плавные карамельные обводы и сопряжения – она была все также хороша. Разуме-

ется, время не обошло ее стороной – поблекла светозарная девичья свежесть, а хрупкое изящество слегка отяжелело, но мой затуманенный нежностью взгляд видел перед собой все те же пропорции и все ту же хмельную красоту. Истинная красота не вянет – она сосредотачивается. Взяв мою размлевшую красавицу на руки, я принес ее в спальню, уложил на кровать, лег рядом и просунул ей под голову руку. Она уткнулась носом мне под мышку и так лежала с минуту. Отстранившись, с тихим наслаждением произнесла: "Ах, какая прелесть...", затем устроилась поудобнее и сказала:

– Помню, Верка купила видик, а потом дня через три звонит и захлеб: приезжай, я тебе такое покажу! Я приехала, и она поставила один из этих ужасных фильмов. Я сижу, смотрю и не знаю, куда от стыда деваться, а Верка говорит: "Вот мы с тобой две дуры – столько прожили, а ничего не знаем!" И я стала смотреть дальше и представляла нас. Думала, будь у нас как раньше – все бы тебе разрешила, все бы себе позволила! Можно сказать, бог меня услышал...

Потянувшись к тумбочке, она подхватила с нее книгу и с бесстыдной грацией раскинулась у меня под боком:

– Смотри, что я у Верки взяла!

Это оказалась современно иллюстрированная Камасутра.

– Ты посмотри, что люди напридумывали! – водрузив учебник любви на голую грудь, хохотнула она. – А тут, а тут! Нет, ты только полюбуйся! – ткнула она в офицерскую позу. – А хочешь, я в чулках тебе покажусь?

– Можно сказать, мечтаю! – тут же согласился я.

– Тогда закрой глаза и не подглядывай!

Я зажмурился, и она покинула кровать. Из слепой тишины выкатился ящик комода и почти тут же вернулся на место. Прошуршал целлофан и скрипнуло кресло, в которое она опустилась. С легким гладким шелестом расправились чулки. Два бесшумных шага в сторону – скрипнул шкаф, упала с глухим стуком на ковер коробка. Последовало невнятное перестукивание, затем две-три минуты томительного ожидания, и я услышал: "Открывай!"

Скроенная по лекалам золотого сечения, она стояла передо мной, смущенно улыбаясь – обескураживающе бесстыдная, неправдоподобно соблазнительная и обольстительно порочная. Ажурные, прозрачно-черные чулки в контрасте с матовой белизной бедер и белым жемчугом вокруг стройной шейки, потрясали до немоты, циркульный раствор подшпиленных ног ввергал в высокий трепет. Не женщина – афродизиак!

– Вот... Специально купила... – заведя руки за спину и подавшись ко мне голым лобком, смущенно смотрела она на меня. Задохнувшись восхищением, я скатился с кровати, подхватил ее и пошел с ней по комнате.

– Ты моя неземная, моя заоблачная, моя божественная, моя прелестная, моя дивная, моя вечно юная девчонка! – бормотал я. Она обхватила меня за шею, и я слился с ней долгим, затейливым поцелуем. Оторвавшись, уложил на

кровать, скинул с нее туфли и пустился в затяжное путешествие по вверенному мне телу. Начав с высоких легких ступней, я с болезненным обожанием обследовал резные изгибы капронового целомудрия, покинул их, добрался до отзывчивых, дерзких бедер, а там по вощенной лилейной коже до нежно припухшего, поделенного надвое бугорка – и припал к нему. Лина вздрагивала, цеплялась за меня гибкими пальцами и лепетала:

– Сладкожка мой сладенький шоколадик шоколадненький...

Когда же я приготовился распластаться на ней, она остановила меня:

– Нет, хочу как в книжке!

И вскинув ноги, уложила их мне на плечи:

– Правда же они еще красивые?

– Сладость моя, других таких нет! – оглаживал и целовал я их.

– А теперь покажи, как ты меня любишь! – вдоволь насладившись моим восхищением, дала она старт ошеломительному забегу.

И мы побежали. Это был первый раз, когда я с уверенностью мог сказать, что пытался втиснуться в непролазный лаз ее родильного отделения. Неизведанные закоулки отзывались неведомыми ощущениями, и я с наслаждением вглядывался во влажно-розовое, перекошенное жалобным восторгом лицо с кипящими слезной, невыразимой мукой гла-

зами. Когда жалобно стонущая стихия стихла, она спряталась у меня на груди и пробормотала:

– Это было что-то запредельное... Как будто ты к моей смерти прикасался...

Отдохнув, она захотела побрить меня и деловито объявила: "Ты, конечно, догадываешься, что я после этого сделаю!", и я покраснел вместо нее.

– Не волнуйся, я знаю, как этим пользоваться. Я себя уже брила. Просто так, из любопытства, – говорила она, раскладывая бритвенные принадлежности.

Я встал перед ней, и она, опустившись на колени и оглядев мои кущи, заключила:

– Тут без ножниц не обойтись.

Щелк, щелк, щелк – складывали белые пальчики на полотенце черные завитки моих зарослей.

– А теперь пенка... – отложила она ножницы. – О, какой ты забавный! Как подосиновик на снегу! Так, а теперь отодвинем наш любимый грибочек и начнем... Вот так, вот так и вот та-ак... – сгребала она к подножью моего обелиска снежную пену и смывала ее под краном. – Не больно?

Наливаясь тугой распирающей силой и не зная, куда девать глаза, я мотнул головой. Простая на вид процедура оказалась не так проста, и чтобы освободить мой моховик ото мха потребовались время и терпение. Лина приседала, разводила колени, вставляла на них, откидывалась на пятки, причудливо изворачивалась, только ведь совершенная кон-

струкция, как ее ни сложи, все равно останется совершенной. Ее сорочка то натягивалась, то распускалась, то опадала, то съезжала к бедрам до мерцающего меж ног откровения. Я как мог терпел, а она бормотала и быстро целовала меня в самое сердце, так что к концу мыльной оперы грибок превратился в звенящую кость. Она обтерла место операции влажной салфеткой, отстранилась и, разложив на краю ванны полотенце, велела на него сесть и развести ноги. Забравшись меж них, ревниво сказала:

– Тебе, конечно, это уже делали...

– Нет, нет, что ты! – замотал я головой.

– Почему? Не хотели?

– Я сам не позволял.

– Почему?

– Не позволял, и все!

– То есть, выходит, я у тебя первая? – округлились искренним удивлением ее глаза.

– Да, и мне это совсем не нравится.

– Ладно. Даже если и делали, ты ведь все равно не скажешь... – любовно огладила Лина предмет своего вожделения, после чего, прикрывшись золотистой россыпью волос, прикоснулась к нему электрическими губами и влажной щечкой быстро и незаметно довела до агонии. Вцепившись в ее волосы и сотрясаемый неукротимой судорогой болезненного восторга, я выталкивал из себя похожий на икоту стон. Она выдоила из меня остатки сгущенки и уселась на мохна-

тый коврик у меня под ногами.

– Какой-то странный лиловый привкус... Даже не пойму, чем отдает... – облизываясь и причмокивая, сообщила она. – Надо же – первый раз за двадцать лет... А ведь я давно уже хотела... Еще в восемьдесят шестом... И потом много раз... Ну и почему ты мне не разрешал?

– Потому что всегда заботился о твоей чистоте... – пошевелил я бессильными губами.

– А я о твоём удовольствии!

– Это вещи несовместимые...

– Для кого как...

– Господи, знал бы наш сын, чем его родители занимают-ся! – простонал я.

– Любовью, Юрочка, занимаются, любовью! Не знаю как ты меня, а я тебя люблю до сердечной судороги! Дай бог, чтобы нашего Костика так любили! – встав на колени и неудобно обхватив, прижалась она ко мне, обмякшему. И вдруг вскинув лицо, скорчила смущенную гримаску: – А я тебя нечаянно проглотила! И что теперь будет?

– Ребенок будет... – с нежностью погладил я ее.

– А я и не против, – мечтательно произнесла она. – А ты? Ты хотел бы ребенка?

– Очень! Только тебе уже поздно.

– Почему поздно? Тетки и в пятьдесят рожают!

– То тетки, а ты не должна мучиться. Ладно, ты лучше скажи, как тебе это безобразие – неужели понравилось?

– Главное, чтобы понравилось тебе... – уклонилась она.

– Мне понравилось, но ты больше не будешь этого делать,

– постановил я.

– Как не буду, как не буду?! – заверещала она.

– Не будешь, и все! – отрезал я и, подхватив ее на руки,

покинул ванную и пошел с ней по квартире. Слишком легкий снаряд для укрепления мышц, она затихла, обхватила меня за шею и пристроила голову на плечо. Я принес ее в спальню и уложил на кровать.

– Я от тебя возбуждалась, – томно сообщила она. – Поцелуй меня... Можешь даже укусить... До крови... Пусть будет, как в первый раз... Только полотенце подстели...

Каким всеблагим и всеохватным бывает нагое тонкорукое, длинноногое счастье! И тут самое время напомнить, что это говорит вам человек, из которого пятнадцать лет вытравили все человеческое. До чего же любовь и ее подголоски живучи, если оттаяв после пятнадцатилетнего анабиоза, они не только не потеряли голос, но стали еще звонче! Объяснение здесь одно: любовь, также как слух, интеллигентность и совесть – свойства врожденные. Они либо рождаются и умирают вместе с человеком, либо вместо них – оптический обман. Исключив из меню кровь и переживая навсегда, кажется, убитое и не поддающееся воскрешению молитвенное умиление, я припал к ее бархатному, поделенному надвое бугорку. Воистину нет наслаждения слаще, чем разворошить его тонкогубые лепестки – смеженные вежды моего вожде-

Оказалось, что бесстыдство и любовь прекрасно ладят друг с другом. Надо только помнить, что вкушая запретные плоды, важно не набить оскомину. Преступив запретную черту, мы с пугающей полнотой и точностью принялись воплощать ее навязчивый замысел. В Лину словно вселился сладкий бес. И если в ее рассказе о важном женихе она была на вторых ролях, то со мной – самым что ни есть главным режиссером. Не я совращал ее – она меня. Ставила задачу, возбуждала воображение, задавала тон и дистанцию, а я, подчиняясь ее просвещенному рвению, пытался понять, следует ли она видеоинструкциям или повторяет пройденное. И что я, по-вашему, должен был думать, участвуя в следующей мизансцене: встав передо мной на колени, она по лесенке поцелуев спускалась к моим трусам и, усевшись на меня задом наперед, медленно их снимала. По мере того как они съезжали к щиколоткам ее лунный круп восходил в зенит, пока не заслонял собой белый свет. Завороженный, я припадал к обмелевшей борозде, а она в ответ падала лицом на мои бедра. "Мы сошли с ума!" – разбросав колени и напрягая шею, утопал я губами в теплом и влажном, как облако, стыде.

Или вот еще: улегшись на спину и сведя ноги, она закры-

вала лицо ладонями, а грудь – локтями. Это называлось у нее *поиграть в первый раз*. Видя в ее притворстве попытку подправить драматургию самой ранней, скандальной поры наших отношений, я охотно ей подыгрывал: зацеловывал лунные кисти и все что ниже – вплоть до мраморных ступней. Войдя в роль дефлоратора, вдыхал целомудренную дрожь в молочные бедра, бережно раздвигал непонятливые ноги и, обласкав пугливое лоно, деликатно проникал в него. В ответ она удивленно вскрикивала, а после правдоподобно и жалобно стонала. В конце отнимала от лица руки и, глядя на меня с довольной улыбкой, тянулась ко мне губами. Памятуя опыт Софи, я поначалу считал, что таким театральным образом она тщится закрыть застарелый и, по сути, уже безобидный гештальт, если бы последующие события не обнаружили в ее лицедействе основания по-настоящему прискорбные.

В чулках она охальничала: усевшись в мое седло, выставляла себя напоказ, ворочала бедрами и, кривя смешливые губы, наслаждалась моими гримасами. То откидываясь, то упираясь в мою грудь, она постепенно разгонялась, глаза ее закатывались, голова запрокидывалась, неистовые бедра и стонущее дыхание частили. Уняв зуд, валилась на мои губы, а передохнув, шла на новый круг. И так до тех пор, пока не загоняла меня в судорожный тупик. После приподнималась и с невинной улыбкой наблюдала, как из нее на мой живот вытекает то, чем я ее наделил. Затем ложилась на лужу, ерзала по ней животом и говорила: "Все, теперь я приклеилась,

и мы будем жить как сиамские близнецы!.."

Она разом отменила мою пуританскую философию и навязала свою, очень простую и ясную: смелость, которую женщина позволяет себе за деньги и которую позволяет по любви, с виду похожи, как две капли воды. Вся разница в химическом составе: в первом случае это мертвая вода, во втором – живая. "Я так тебя люблю, что готова вывернуться наизнанку!" – говорила после очередного извращения женщина, чье целомудрие я холил и лелеял даже в скотские времена. Ее навязчивое рвение выворачивало наизнанку далеко небезобидные вещи, а живая вода любви одухотворяла откровенную вульгарность. Да разве глядя на ее строгую, благородную красоту, можно было поверить, что в свободное от работы время она занимается совращением бывшего и будущего мужа?

В ее пропахшей духами прикроватной тумбочке поселился силиконовый фаллос, с чьим немилосердным усердием она меня вскоре познакомила. Ей, видите ли, было важно, чтобы я орлом испытал то, что испытывает решкой она. Как оказалось, помимо когнитивных у нее были и другие резоны. Помню как я, заливаясь краской, впервые в жизни оказался в роли принимающего. Меня коржило от боли, стыда и негодования, я корчился, рычал, царапал простыню, хватал распяленным ртом воздух и хрипел "Хватит!", а она с неожиданной сноровкой и мстительным прищуром мучила меня. До тех пор пока я, перехватив у нее игрушку, не убе-

жал в туалет. Вернувшись, осыпал ее упреками.

– Это тебе за нашу первую ночь, – был ответ.

Ладно, в расчете, согласился я и поинтересовался, откуда игрушка. Из квартиры на Чистопрудном, где она регулярно удовлетворяла себя на ночь глядя, сообщила она. А что делать – хоть плачь, хоть мужика заводи! И ведь пыталась. Два раза. Но дальше первого свидания сердце заходить отказывалось. "Это ты его заколдовал!" – пряча глаза, призналась она.

На следующий день она вновь подвергла меня экзекуции, и если я упоминаю об этом, то лишь затем, чтобы возмущенным словом осветить кривизну произошедшей в ней перемены. Расчетливо и жестоко унизив меня, она сказала: "Это тебе за твою секретаршу!" – а когда я вместо того, чтобы растерзать, пощадил ее, разочарованно обронила:

– Ты даже разозлиться как следует не можешь!

Нет, вы только послушайте: оказывается, она надеялась, что я, разозлившись, укушу ее до крови, изнасилую, и она испытает эти ее чертовы антиоргазмы! Впору развести в замешательстве руками и воскликнуть: "Как же так – ушла благонаправной домохозяйкой, а вернулась законченной нимфоманкой!" Пришлось отнести ее ненасытное бесстыдство на счет долгого воздержания.

Однажды она уселась на меня и вместо того чтобы пуститься вскачь, сказала:

– Я сейчас покажу тебе кое-что новенькое. Помпур назы-

вается.

– Как, как? – не понял я.

– Пом-пур! – повторила она тоном выше. – Делается мышцами влагалища. Целая наука. Из гаремов к нам пришла. Я на игрушке специально для тебя тренировалась...

– И что я должен делать?

– Ничего. Просто закрой глаза и наслаждайся.

Я закрыл глаза и приготовился наслаждаться. После короткой паузы последовала череда разной силы потискиваний.

– Чувствуешь? – испытующе смотрела на меня Лина.

– Чувствую, – отозвался я.

– Где чувствуешь?

– Э-э... у самого корня.

– А сейчас где? – подтянула и распустила она живот.

– Там же.

– А должно быть посередине. А сейчас? – заходил ходунком ее живот.

– Извини, моя любимая одалиска, но все там же...

– А я метила в помпончик... Подожди, давай еще!

Она уперлась руками в мою грудь, прогнула спину и от внутреннего усилия даже сморщилась.

– Ну? – с надеждой смотрела она на меня.

Я мог соврать, но не стал.

– Там же, но очень, очень приятно!

– Значит, не получается. Жаль, – огорчилась она и собра-

лась меня покинуть.

– Не уходи, поупражняйся еще! – попытался я ее удержать.

– На султанах не упражняются... – покинула она меня, явно расстроенная.

Подчиняясь ее прихотям и сдавая, а точнее, осваивая одну позицию за другой, я всячески противился взлому ее ануса, к чему она меня неоднократно склоняла. Как я уже говорил, для меня эта нежно мерцающая точка на атласе женского тела оставалась заповедником чинности и целомудрия, зеницей, так сказать, межъгодичного ока, лезть в которую блудом все равно что в глаз бревном. Как оказалось, сама она так не считала.

– Нет, нет и нет! – вспоминая Люси, категорически возражал я.

– Ну мы только попробуем! Не надо далеко! Зайди чуть-чуть, и все! – упрашивала она.

– Господи, зачем тебе это?! – смущенный ее одержимостью, спрашивал я.

Один раз она ответила: хочу знать, каково это. В другой раз сообщила, что дала себе слово обязательно это сделать, когда мы снова будем вместе. В третий раз заявила, что хочет чувствовать меня везде. В четвертый обронила: считай, что замаливаю грех. Когда же она в очередной раз объявила, что ищет унижения, я потерял терпение и посоветовал:

– Если это тебе так важно, возьми игрушку и унизь себя

сама!

– Нет, это должна быть твоя игрушка! – горячилась она. – Ну, прошу тебя, ну, пожалуйста!

Видимо устав уговаривать, она однажды встала на колени и, сунув мне крем, велела: "Делай". Вы же знаете – если женщина вбила себе что-то в голову, то освободить ее от этого может либо новый каприз, либо исполнение желания, либо эшафот. Я сделал все, чтобы умыть руки. Сперва попросил анус опомниться. Напомнил, что он последний оплот и хранитель нашего семейного целомудрия. В ответ мне возразили, что целомудрие хранится не в заднице, а в сердце. Тогда я предупредил, что ему, такому маленькому и нежному, будет так больно, так больно! В ответ услышал категоричное: "И не надо меня жалеть!". Тогда я, облагораживая его унижение, зацеловал круп, и чтобы отвлечь от него внимание сосредоточился на розовом сечении. В ответ меня одернули: "Не отвлекайся!" И тогда я, скрепя сердце, кремировал трут и трутовище (именно так, ибо с точки зрения русского языка у живого *crème* больше оснований *кремировать*, чем у мертвого *cremare*) и, удерживая пугливые бедра, проник в них на полвершка. Ягодицы Лины поджались, спина по-кошачьи выгнулась – того и гляди зашипит! – и она резко втянула воздух. Получилось шипение наоборот. Я предпринял вторую попытку – снова тот же звук. Утопив себя на вершок, я спросил:

– Чувствуешь меня?

– Да, – с натугой ответила она.

– Еще?

– Как хочешь, – выдавила она сквозь зубы.

На память пришло жестокое наслаждение, с каким я унизил Люси, и мне вдруг захотелось преподать урок этой одержимой бесами женщине, с тем, чтобы навсегда отбить у нее охоту к сомнительным удовольствиям. Сопроводив моральные колебания колебаниями физическими, я вдруг устыдился и покинул ее. Она с неожиданной прытью вскочила и унеслась, как я понял, в туалет. Вернувшись, легла ко мне спиной. Я обнял ее:

– Глупая... Больно было?

– Зря ты меня пожалел... – тихо сказала она. И вдруг раздраженно: – Ну, что лежишь? Иди, мойся!

Когда я вернулся, она лежала в том же положении. Я пристроился рядом и снова обнял.

– Неужели тебе не противно? – враждебно отстранилась она.

В ответ я обхватил ее и прижал к груди.

– Прости. Я ведь понимаю, что это отвратительно, но здесь другое... – услышал я, но вместо того чтобы объясниться, она велела: – Раз уж ты такой добренький, доведи дело до конца. Только по-человечески...

И снова встала на колени. Я слился с ней, и она, опершись на локти, спрятала лицо в ладонях. Пошлепывая бедрами, я оглаживал ее круп, бока и спину, а она исправно и при-

душено стонала. Затем вырвалась, легла на бок, подогнула ногу и, сложив ладошки, подложила их под щеку. Я продолжил. Стоны ее обрели распевность. Я поймал кураж, и она, задрав ногу, застонала в лад моим толчкам. Потом без спросу растянулась на животе и отставила зад. Раздвинув перламутровые створки, я проник в темные аллеи и стал разгуливать там строевым размашистым шагом. Свернув голову и закатив глаза, Лина жалобно ахала и мяла подушку. Я добавил жару – она тоненько завывала и захотела перевернуться на спину. Я ей помог. Она притянула меня к себе, и мы слились в неистовом поцелуе, после чего я закинул ей за голову руки, придавил и, насадно дыша, завершил мой дровосеков труд. Придя в себя, она в очередной раз повторила: "Ты самый лучший!", после чего прижалась ко мне и быстро уснула. Вы спросите, что это было? Сублимация вины, вот что.

Несколько вечеров после этого она вела себя вполне пристойно. Уложив на спину, я окатывал ее волнами реликтовой нежности, а она закатывала глаза и млела. Потом обильно и с наслаждением стонала, обессилев, подставляла в сладкой истоме губы, а я, облокотившись, бережно их посасывал, свободной рукой утешая ее обмякшее тело. Кстати говоря, именно в одну из таких минут я с дотошностью мемуариста представил себе мой мужской путь – от первых смущенных опытов до нынешней бывалости. Путь от новобранца до полковника. И то что я не застрял в лейтенантах – заслуга моих женщин. Если бы не их алчущая взыскательность, я бы

так и довольствовался петушиными оргазмами, суммарная продолжительность которых к тому времени тянула уже на часы, как тянет на годы наш совокупный сон. Это теперь я знаю, что женский оргазм рудиментарен и для оплодотворения не нужен. Подтверждение тому – плодоносящие женщины, которым фригидность не помеха. Невстроенный в цепочку плодоношения, он тем не менее был возведен в культ и превращен в оккультную науку. Я знаю точно: настоящим автором Камасутры была женщина, ибо мужчина в любом положении получит свое, а скупая на позы женщина может прожить всю жизнь, так и не узнав о себе самого главного. И в этом смысле эксперименты Лины были оправданы. Вот только полностью и безоговорочно принять их мешал мне прячущийся в глубине святоша, твердивший, что искушенная в любви женщина не та, что всего отведала, а та, что отвергла все искушения. Оставалось уповать на то, что утолив телесный голод, Лина вернется к золотой середине.

Отдыхая однажды после очередного затейливого упражнения, я не удержался и заметил, что медленно и верно превращаюсь в героя ее рассказа.

– Нет, Юрочка, ты никогда им не будешь, потому что во влюбленном мужчине нет похоти. И не надо, не старайся, а то я почувствую себя проституткой. А я всего-навсего хочу быть твоей благодарной любовницей! – бархатисто переливался ее голос.

Ну, а дальше открылась убийственная правда, и сказке

пришел конец.

43

Однажды вечером после нашей очередной близости она, не дожидаясь, когда истает жар приятного безволия, потушила ночник, слилась с гаснущими июльскими сумерками, и я услышал:

– Я тебе сейчас кое-что расскажу, а дальше ты сам решишь...

– Иди ко мне, – протянул я к ней руку. – Люблю, когда ты бормочешь у меня на груди...

– Нет, я... мне... я... лучше здесь... – замялась она и, скорбно пошмыгивая, поведала историю, которую я, отбросив спотыкливую пунктирность, многоточивые паузы и натужные эвфемизмы, привожу здесь в афтершоковом, домысленном виде (к ее слову – десять моих). Да помогут мне законы синтаксиса и авторитетное жюри падших ангелов постичь логику ее безумной выходки!

...Это случилось через полтора месяца после развода. Ей тогда было ужасно тоскливо и одиноко, и все время хотелось плакать. В субботу четырнадцатого июня, во второй ее половине я должен был везти родителей и сына на дачу, и она, не желая меня видеть, оделась теплее и отправилась, куда глаза глядят. Было по-осеннему прохладно, пасмурно и уныло – совсем как у нее на душе. Бесцельным ходом до-

бралась до Арбата и в поисках темного места зашла в "Художественный". Там показывали "Фанфан-тюльпан", и она, купив билет, взяла кофе и уселась в уголке. Он робко подсел и смущенно поздоровался. Молодой, опрятный, симпатичный. Она оцетинилась, хотела пересесть, но он торопливо и умоляюще попросил: "Пожалуйста, не уходите! Я только хочу полюбоваться вами вблизи! Никогда не встречал более красивой девушки!" В досаде она огляделась – пустых столиков уже не было, и ей волей-неволей пришлось остаться. Он пожаловался на прохладное начало лета и заговорил о "Матрице", продолжение которой только что вышло и мало ее интересовало. Говорил и не сводил с нее восхищенных глаз. Она молчала, и когда он назвал ее и спросил, как зовут ее, на секунду задумалась и ответила – Катя. В полупустом зале он попросил разрешения сесть рядом. Она разрешила и весь сеанс следила, чтобы он невзначай не коснулся ее локтем или плечом, так как он пользовался малейшей возможностью щедро на простоватые эмоции фильма, чтобы обратить к ней улыбочное лицо. В какой-то момент она вдруг физически ощутила, как солидарные эмоции и сообщница темнота все глубже затягивают ее в воронку случайного, ранее незнакомого ей знакомства. Она представила незатейливое продолжение и запаслась необидной иронией на тот случай, если он попросит номер ее телефона. Когда вышли из кинотеатра (впереди она, позади на птичьих правах парень), и она приготовилась бросить улыбочное "Спасибо за компа-

нию", он опередил ее предложением погулять. Она смутилась, хотела резко отказать, но вдруг подумала: а что, собственно, такого? Она, слава богу, свободна, и ничто не помешает ей поставить точку там, где она захочет! Мысль наполнила ее неведомой ранее отвагой, и она согласилась. Под его неумолимый речитатив они вышли на Новый Арбат и, не доходя до Садового кольца, зашли в кафе, где у нее впервые за долгое время обнаружился аппетит. На слова в отличие от него была скупа и за себя заплатила сама.

Оказалось, что ему от роду тридцать, разведен, живет один и работает по свободному графику. Увидев ее, прекрасную и одинокую, он стал ждать, когда объявится ее спутник, пока не убедился, что она одна. Успел опередить некоего невзрачного мужичонку, чье намерение присоединиться к ней выглядело как оскорбление, и вот теперь смотрит на нее и глаз не может отвести. Что ж, лестное внимание молодых мужчин не было ей в новинку. Она снисходительно слушала и ждала, что он, не доверяя кольцу, спросит, замужем ли она, и когда он спросил – подтвердила. Для приличия посидела еще немного и сказала, что ей пора. Выйдя из кафе, собралась решительно распрощаться, но тут парень (кстати, ростом всего на вершок выше нее и с густыми, красивого каштанового оттенка волосами) отчаянно покраснел и сказал: "Ради бога, Катенька, не поймите меня превратно, но что если я приглашу вас к себе?" От такой неслыханной наглости она оторопела, а придя в себя, задохнулась от воз-

мушения: да как он смеет?! Она что, похожа на скучающую шлюху?! Хотела развернуться и гордо удалиться, но вдруг из глубины прорвалось и разрослось крамольное: а почему нет? Вот возьму и пойду всем назло! Сколько можно прозябать! Хватит, надоело! Ей давно уже нужен безумный поступок, чтобы им как пинком распахнуть дверь в будущее! Это даже хорошо, что ему тридцать! При такой разнице между ними ничего, кроме секса быть не может! – неслись ошалелые мысли. И последняя, злобно-прищуренная: отомщу, успокоюсь, а потом вернусь к нему (то есть, ко мне) и заведу любовника!

В удушливом волнении она отвела глаза и чужим голосом спросила, где он живет (к черту на кулички ехать не собиралась). "Здесь, в Кривоарбатском!" – махнул он рукой в глубину Арбата, и они двинулись к нему. Пока шли, он о чем-то смущенно и беспорядочно говорил, а она отводила глаза и чувствовала, как жаркий стыд испепеляет щеки. Несколько раз порывалась остановиться и сказать, что передумала, но какая-то гибельная тяга, противиться которой не было сил, влекла ее все дальше и дальше. Они поравнялись с аптекой, и она вдруг с ужасом услышала, что просит его позаботиться о презервативах. Он кинулся в аптеку, а она в безвольном смятении приложила к полыхающим щекам холодные ладони, твердя себе, что сошла с ума. Он вернулся, запыхавшийся и возбужденный, и они двинулись дальше.

В тесной прихожей он помог ей снять куртку и подсунул

фасонистые тапочки. Чтобы оттянуть время она попросила чай. Он побежал на кухню, а она прошла в ванную, где не глядя на себя в зеркало, вымыла руки. В конце все же не удержалась и взглянула: оттуда на нее смотрело чужое бледное лицо. Сердце толкнулось в горло, и она поспешила на кухню. Там, как и в ванной царил опрятный порядок. Парень оставил стол сладостями, налил ей чай и, покраснев, попросил разрешения удалиться, чтобы поменять постельное белье. Сгорая от стыда, она молча потупилась, и он убежал. Сдерживая мелкую дрожь, она выпила густой пряный чай и, не дожидаясь приглашения, пошла на поиски хозяина. Парень нашелся в одной из двух комнат. В ней дверь располагалась напротив окна, между ними внушительных размеров кровать без задней спинки, одинаково пригодная для акробатических номеров и вольной борьбы, напротив кровати – широкий и плоский зеркальный шкаф, справа от шкафа – мини-комод с телевизором, над ними – настенные часы, на полу – ковер, по бокам кровати – ночные столики. По одну сторону двери – кресло, по другую – необязательный стул. И доминанта спального пространства: изрядных размеров картина над кроватью. На ней вызывающе сочно и сладострастно переливалась буйными красками розетка мякотных, розовато-кремовых лепестков с погруженным в них толстым, копьевидным пестиком – двусмысленный образ, который непременно смутит благовоспитанное и подстегнет распущенное воображение. Словом, не келья монаха, а аль-

ков ловеласа, где вместо распятия – символы плотского соблазна, вместо воздержания – удовольствия и где ее неприкосновенность и честь – вне закона. Она вдруг почувствовала себя на пороге события, пагубным значением сравнимого с насильным лишением девственности. Глухое волнение окатило ее. Пройдя к окну, она обхватила локти и мятущимся взглядом стала наблюдать за нервной ловкостью, с какой парень облагораживал белый эшафот ее благонравия. Закончив, он подхватил мятое белье и исчез, а вернувшись, выжидательно уставился на нее. Она попросила какую-нибудь рубашку. Он раздвинул шкаф, она выбрала траурный темно-коричневый цвет, подошла к креслу и велела задернуть шторы. Он бросился исполнять, а она, повернувшись к нему спиной, стащила с себя джинсы, блузку и джемпер, после чего скинула лифчик, набросила рубашку, застегнулась на все пуговицы и подвернула рукава. Стоя зачарованным столбом, парень не сводил с нее глаз. Распустив сухой ворох волос, она легла, натянула на себя одеяло, сняла под ним трусы, сунула их под подушку и затихла, вся во власти мелкой студенистой дрожи. Парень суетливо обнажился, раскатал презерватив, и на секунду его кривой гладкий хоботок мелькнул в размытых щелочках ее смеженных ресниц. И тоскливая мысль: господи, еще немного и незнакомый, ничего не ведающий о ее страданиях мужчина станет возить горячими ладонями по ее покорной наготы, совать в нее пальцы, а потом навалится, проткнет и надругается над ее обморочным

стыдом! А после, лежа рядом и сменив заискивающий тон на покровительственный, будет донимать самодовольной чужью, а она будет молчать и ждать, когда он наговорится и навалится снова, а потом еще и еще – чем больше, тем лучше, ведь она сюда за тем и пришла. Когда же пресытится – сунет ей такие же измятые как она купюры и выставит за дверь. И будет прав, потому что ее поведение к лицу только шлюхам! От взметнувшегося отчаяния стиснуло горло и заныл живот...

Ее неровное бормотание заплеталось, натыкалось на нескромные подробности, обтекало их и увязало в паузах. Оцепенев в предчувствии беды, я ждал, что она вот-вот скажет: "И здесь я не выдержала и убежала", потому что до этого места она еще могла убежать.

...Парень залез под одеяло и потянулся к ее губам – она отвернулась. Его рука легла ей на грудь – она молча ее отстранила. Тогда парень откинул одеяло и встал на колени, подставив ей себя голого и крайне возбужденного. Не зная, куда девать глаза, она одернула рубашку, но он развел ее слабые руки, оголил бедра и устался на то, чего никто кроме меня и Ивана не видел. Она вдруг услышала свое сердце и в следующую секунду обнаружила чужие губы у себя в паху. Оттолкнув их, она сдавлено воскликнула: "Не надо так делать!" Помедлив, парень встал над ней на четвереньки и плотно накрыл ее собой. Ощувив его горячую, страждущую тяжесть, она уперлась ладонями ему в грудь и попыта-

лась отстранить, но он мертвой хваткой вцепился снизу в ее плечи, сковал локти, придавил грудью руки и подставил ей красное лицо с неподвижными, жадными зрачками. Незнакомая паника внезапно окатила ее широкой волной. Ей захотелось вырваться, и она попыталась, но лишь беспомощно задергалась, жалобно и торопливо выговаривая: "Подожди, не надо, пусти, я не хочу, слышишь, не хочу, отпусти! Ну, отпусти, кому говорю!.." Не обращая внимания на ее жалкие потуги, парень нетерпеливыми коленями растолкал ей до потери грациозности ноги и зверским поцелуем заткнул рот. Она мотнула головой – ей удалось освободиться, и она, судорожно корчась, запричитала: "Ну, прошу тебя, ну, пожалуйста, отпусти, ну, пожалуйста!.." В ответ он гладким наколочником нащупал в ней брешь и с тугой распирающей силой вторгся в нее. Она громко ахнула и завозила пятками. Он припечатал ей бедра и короткими кроличьими тычками пошел продирается ко дну. От сухой напористой боли она задергалась и заскулила. Он поймал ее губы. Она мотнула головой – он за ней. Он ловил – она уклонялась, она уклонялась – он ловил, и так до тех пор, пока до нее не дошло, что ее уже с минуту напористо и жадно насилуют, верша то роковое и ужасное, что отныне лишит ее благочестия и гнилозубым укором будет грызть до конца дней. Выпростав с груди ладони, она спрятала в них лицо и, страдая от стыда и унижения, заплакала. Лежала, заливалась беспомощными слезами, а подпахивающий неизвестным одеколоном гондо-

льер жарко целовал ее руки и гибким упругим шестом энергично толкал ее беспризорную лодочку вперед, отчего она с каждым толчком, с каждым стонущим выдохом уплывала от меня все дальше и дальше. И лишь раскидистый, чуткий как паутина соучастник-матрац отзывался на ее позор злорадным, волнистым оханьем...

Невидимый гипнотизер громко щелкнул пальцами перед моим незрячим лицом: я очнулся и понял, что мне снова изменили. Разом обессилев, я хотел лишь одного – чтобы она прекратила эту пытку, но ее голос, ставший частью моей тупой сердечной боли, пощады не знал.

...Так и плыла по волнам позорного безволия, желая, чтобы плаванье поскорее закончилось. Не тут-то было: слившись с ней в двуединое целое, парень замысловатым вилянием бедер мало-помалу растолкал, раздышал и увлажнил запущенные стенки ее валгаллица (слагалища корневища и влагалища, гнездовища огневища и пожарища, семяместилица и нерестилица), и она вдруг с удивлением обнаружила, что в ней все яснее маячат контуры плотской бури. Парень ослабил хватистый напор, и она, перестав плакать, отняла от лица ладони и отдалась нарастающему волнению. Неожиданно рассудок заволокло туманом, и она, закатив глаза, задышала громко и часто. Парень с пыхтящим крейсерским упрямством толкал ее через волны на обманный свет маяка. Свет становился все ближе, все ярче, все опаснее, пока не ослепил ее, отчего она, ослепшая, напоролась подводной

частью на рифы и до основания содрогнулась, возвестив о столкновении некрасивым сдавленным стоном. Цепляясь за парня, как за обломок кораблекрушения и жалобно сетуя, она последовала за ним, и он, виляя бедрами и постанывая, дотолкал ее до второго, потом до третьего, а за ним до четвертого оргазма – общего и до неприличия громкого...

Переведя дух, он жарко бормотнул: "Катенька, вы бесподобны!" и захотел ее поцеловать, но она уклонилась. Помедлив, парень отделился, сверкнул ягодицами и удалился по своим делам, оставив ее, притихшую, в чужой постели, где она оказалась по собственной воле и где ее вопреки той же восставшей в последний момент воле изнасиловали, сопроводив надругательство четырьмя добротными оргазмами. Она неловко села, одернула рубаху и увидела себя в зеркале – с голыми ногами, в мешковатой рубашке, с растрепанными волосами и ядовито-красочной картиной над головой. Она мазнула пальцами по створкам, и обилие собственного крема ее неприятно удивило. Странно: ведь она шла сюда не за удовольствием, а за самим фактом измены и если ждала оргазма, то только душевного, каким и должна сопровождаться праведная месть! Нельзя опошлить месть неуместным наслаждением, как и невозможно что-то почувствовать, не желая того! – таким было ее только что опровергнутое представление о сексе без любви. Вслед за этим в голове полыхнуло: боже мой, вот, наконец, и случилось то запретное и ужасное, что столько лет пугало и манило ее! Как бы то

ни было, но этим шальным, диковатым сексом она отринула прошлую жизнь и выбрала новую, где вместо бывшего мужа – brutальный шатен, а вместо покорности – ее крепнущая воля. Мимолетная прощальная тоска коснулась сердца мягким крылом и растаяла. Осушая себя полрой рубашки, она невольно оживила еще не померкшее ощущение надсадного напора, чем освободила слабое, как заблудившееся эхо содрогание. А вместе с ним крепнущее недоумение: господи, ну почему она не решилась на это раньше?!

Появился парень и радостно сообщил, что у нее божественный вкус. Откуда он это взял, – покосилась она на его мускулистую поджарость, бугристый пах и чистую, без подозрительных болячек кожу. Облизал резинку, – признался этот случайный мачо, которому она ни с того, ни с сего вручила самое сокровенное: тазобедренную наготу и живичный сок. Покраснев, она отвела глаза и попросила не ходить перед ней голым. Он суетливо натянул трусы, и она, натянув под одеялом свои, отправилась в ванную, где с мыльным пристрастием обработала себя. Вернувшись, спросила, есть ли у него коньяк. Он тут же принес бутылку *Hennessy* и две рюмки. Налил ей и себе и сказал: "На брудершафт не предлагаю – вам, Катенька, невозможно тыкать..." Она удивленно на него взглянула – подумала, шутит. Но нет, он был торжественно серьезен. Она медленно выпила, сморщилась и откинулась на спину. Выпив вслед, парень растянулся рядом и, мешая запах одеколона с духом закуской, горячо и взвол-

нованно сообщил, что был безмерно очарован ее неподдельной стыдливостью (вот оно как: оказывается, он принял ее жалкий бунт за пароксизм стыдливости!). Поведал, как был тронут ее сверхчуткой реакцией на его проникновение, как не мог налюбоваться ее прекрасным заплаканным лицом, которое постепенно украсило трогательное волнение, как наслаждался ее целомудренными стонами, с каким умилением любовался распахнутым изумлением, которым она встречала оргазмы. В какой-то момент он даже подумал, уж не девственница ли она – настолько искренне и непосредственно она себя вела. И пусть это не так, но что-то ему подсказывает, что так как с ним у нее первый раз! Ну, правда же? Нет, нет, это сон, это чудесный сон! Невозможно поверить, что такая дивная и стыдливая красавица осчастливила его в первую же встречу! Чему он бесконечно обязан и за что ему такая честь? Тут она почувствовала, что пришло время перехватить инициативу, и буднично сообщила: "Не чему, а кому. Мужу. Это моя месть ему за измену..." Парень потерял дар речи, а обретя его, возопил: изменить?! ей?! да как такое возможно?! да если бы он был ее мужем, он бы молился на нее день и ночь!!! – но она жестом остановила его и внушительно объявила: "Кстати, ты такой же грубый, как он. Мне это не нравится. Я ведь могу мстить и с другим...". Парень помертвел и залепетал, что если он был несколько, э-э-э... несдержан, то умоляет его простить: от ее стыдливой красоты, от нереальности происходящего он просто-напро-

сто сошел с ума! Но это не его стиль, на самом деле он может и умеет любить чутко и нежно! Он клянется, что такое больше не повторится и готов подтвердить это прямо сейчас! И далее в том же возбужденном и путаном на взгляд новой пуганы духе. Она слушала, не перебивая. Решила: посмотрим, на что он способен, а дальше будет видно.

Его экзальтированные тирады вкупе с коньяком приглушили ее волнение. В неподвижной глубине зеркала зародились сумерки и напомнили ей, как четырнадцать лет назад она в таких же сумерках изменяла мне с Иваном. Да, она виновата, но с тех пор моя вина и количественно, и качественно превзошла ее вину. Моя же особая и непростительная вина в том, что я выбрал не милосердие, а месть. Вот за все это по совокупности она со мной и рассчиталась. И это не какая-то там пошлая измена, а долгожданное и справедливое возмездие. И как только она себе это сказала, тиски распались, дыхание отпустило и сердцу стало легко и свободно. Что дальше? То же, что и перед этим, только с чувством, с толком, со сноровкой. Главное, унести отсюда ноги, сколько бы раз ни пришлось их раздвигать. А то, что раздвигать их придется не раз, говорили жадный взгляд и вспученные трусы парня. Да, конечно, пойти с первым встречным было верхом глупости. Впрочем, совершать глупости у нее в крови, так что остается дожидаться, чем обернется для нее очередное безрассудство. Приложив ладони к разгоревшимся щекам, она вдруг с замирающим бесстыдством спро-

сила себя, насколько парня хватит. Видит бог: ее волнительные ожидания не утолить и десятью инъекциями! Тем временем голос воодушевленного любовника звучал все ближе, все вкрадчивее, и когда его осторожная рука принялась расстегивать рубашку, она не стала противиться, лишь предупредила: "Помни, что я сказала..."

В этот раз он вошел в нее как по маслу и, опершись на локти, тщательно обследовал ее сочную гофру. Словно в лавку фарфоровой посуды, привыкшую к расpirательному присутствию моего слона, заглянул ловкий подтянутый молодец и бродил там, приглядываясь, потирая, поглаживая и прицениваясь. К ее удивлению там обнаружались вещи, о существовании которых она даже не подозревала – например, тягучая сонливая одурь. Убаюкав ее, парень мягкими неспешными толчками принялся закачивать в нее порции живительного газа, от которых расправлялись легкие и наливалась упругостью грудь. Накачав, погрузил свою пушчонку по самые колеса и неторопливо, если не сказать занудно, стал тереться лафетами, загоняя себя и ее в транс. Так и чередовал одно с другим, перебивая их рутинную монотонность причудливыми арабесками. И все это ловко, толково, а главное, без того смачного, стыдного для ее эстетического чувства бартолинового причмокивания, которым сопровождалась моя тугие фрикции. Отвернув лицо от чужих неподвижных глаз, она слушала, как от мерного колыхания шуршит под ухом свежая наволочка, а в паху накапливается

электричество. Долго ждать не пришлось: за первым разрядом последовал второй, а потом заискрило – оргазмы вздувались и лопались, как мыльные пузыри. Она приветствовала их ахающим удивлением, а затем перестала соображать и только громко страдала, закатив глаза. Под ухом старательно частила наволочка, согнутые в коленях ноги некрасиво болтались, заброшенная за голову рука вцепилась в подушку, другая шарилась по кровати. Раскинув полы рубашки, парень поедал ее грудь, пытался завладеть губами, а она часто и громко дышала и мотала головой. Потом оргазмы слились в одну сплошную стонущую жалобу, и ее подхваченную бурным потоком лодочку закрутило и понесло неведомо куда. Она потеряла счет времени, но одно может сказать точно: так долго и плодотворно я не был с ней даже в молодости.

Случайно ли, нет ли, но все опять завершилось солидарным, похожим на приступ эпилепсии оргазмом. Оглушенные мощными выбросами гормонального яда, они корчились, скалясь, толкаясь и охая, пока не спустились в регистр гаснущих стонов, где и затихли. Утопив лицо в ее густых, взбитых в страстном беспорядке волосах, он прилип к ней оплывшим студнем, и у нее не было сил его столкнуть. Наконец он сполз и забормотал какую-то восторженную чушь о небывалом потрясении. Только ей было не до него. Взмокшая, одуревшая, с изъеденной грудью, залитым живицей лобком и с жарко тлеющим костром в опустевшей пещерке она лежала без сил, прикрыв глаза и чувствуя себя простолюдинкой,

которую говорливый проходимец непотребно употребил до срамной взмокшей наготы. Подождав немного, она сунула руку проверить, не подвел ли презерватив, после чего натянула трусы и направилась в туалет, размышляя по пути, уходить или остаться. Решила: если при писании обнаружится жжение – уйдет. Не обнаружила и отправилась обратно. Вернувшись в камерный сумрак, она поморщилась от порочного гуттаперчевого духа и резко попеняла парню за покусанную грудь. Он скатился с кровати, упал ниц, обхватил ее ступни и принялся беспорядочно их целовать. Она смутилась, хотела освободиться, но передумала. Так и стояла, глядя на распростертого у нее в ногах гладкого, гибкого мужчину с крепкими икрами и аппетитными ягодицами, за которые совсем недавно цеплялась, помогая им себя насиловать. Страхнув с ног его воспаленные губы, сухо объявила, что если это еще раз повторится, он ее больше не увидит, после чего велела ему прикрыться и пожелала новую рубашку. Оба ее пожелания были тут же и с подобострастием исполнены. Переодевшись у него на виду, она забралась под одеяло и попросила распахнуть форточку.

Исполнив, он предложил коньяк – она отказалась. Он предложил чай – она согласилась. Он убежал и вскоре вернулся с подносом: чай, мед, конфеты, пирожные. Усевшись поудобнее, она принялась за угощение. Парень лежал, облокотившись и глядя на нее во все глаза, ни словом, ни жестом не вмешиваясь в ее трапезу. Покончив с чаем, она вер-

нула поднос, откинулась на подушку, сомкнула в приятном безволии веки и тут же услышала придыхательное: "Какие у вас, Катенька, дивные ресницы..." Он жадно и неотрывно любовался ею, и она это чувствовала. "А еще у вас бесподобные волосы, и у них чудный запах... – добавил он. – А ваши подмышки пахнут чайной розой..." Она смолчала, и он продолжил: "Ваша грудь, Катенька, слаще шоколадного суфле, а у сосков вкус барбарисок..." И видя, что она никак не реагирует, осмелел: "А внутри вы сочная, нежная и сладкая, как сливочный мусс..." Она покраснела и отвернулась. "Вы такая вся нереальная, такая фантастическая! Не понимаю, как вы можете жить среди простых людей..." – бормотал он. Где-то за окном перекликались голоса, перестукивались невидимые каблуки, играла музыка, придушено вскрикивали автомобили. Недавнее ошеломительное потрясение отдалось в ней отчетливым, раскатистым эхом, а вслед ему внезапная злость. Вся наша жизнь вдруг отозвалась в ней собранием унижений и обид. Да чтоб она снова вернулась к этому позорному существованию?! Да ни за что и никогда! Надо, надо постараться забыть меня, и как можно скорее! – подумала она с неожиданным ожесточением. "Вот и начни, вот и останься на ночь!" – подсказал соблазн. Ей представилась ненасытная, лишенная всякого стеснения ночь, сердечный сговор рук, ног и бедер, жаркий первобытный костер в глубине пещеры и нескончаемая череда обморочного забывтья – то есть, все то, чего она была так долго лишена. Сму-

тившись, попыталась отшутиться – презервативов не хватит, на что соблазн возразил: можно и без них. Даром что ли монашки, балуясь свечкой, приговаривают: Париж стоит мессы, игра – свеч, а мужское семя – непорочного зачатия! "Нет, для первого раза это слишком..." – осадила она искusstителя.

Тем временем новый осеменитель продолжал восхищаться ее прелестями. Он хотел знать род ее занятий, и когда она назвалась домохозяйкой, пришел в восторг: лишь заповедные стены дома способны уберечь ее красоту от нескромных взглядов и поползновений! Она вполуха слушала его неумное бормотание, и вдруг в голову ей пришла простая и ясная мысль: отныне она сама хозяйка своих и чужих прихотей! Впредь ей не надо ждать, когда ее захотят – пусть ждут, когда захочет она! Мысль была такой радикальной и грандиозной, что для того чтобы ее осознать требовалось время. Словно желая ей в этом помочь, парень стянул трусы, облачился в резиновый чехол, подкатил к ней и, откинув одеяло, возложил руку ей на живот. "Убери руку и верни одеяло на место" – ровным голосом приказала она. Он испуганно отдернул руку и вернул одеяло на место. "Я сама скажу, когда захочу" – тем же голосом объявила она. "Да, да, конечно! Просто я думал, что вы, Катенька, не против..." – залепетал он. "Катенька не против, только не надо ее торопить" – расставляла она флажки. "Конечно, конечно!" – униженно прикрылся он своей половиной одеяла. "А пока расскажи, из-за чего ты развелся" – велела она. С некоторых пор истории чужих

разводов стали ей интересны.

Оказалось, что его жена через полтора года после свадьбы спуталась со своим одноклассником, с которым у нее в школе была любовь. Когда слух об этом дошел до него, он прямо ее спросил, так ли это. Она не стала отпираться и сказала, что сама собиралась во всем признаться. Сказала, что была с ним всего два раза и уже два месяца как рассталась. Странно, но ее признание поранило ему не сердце, а самолюбие. Он даже спросил: "Неужели он лучше меня?" В ответ она стала плакать и умолять ее простить. Прощать ее он не собирался и в тот же день вернул вместе с вещами родителям. Целый месяц вплоть до развода она донимала его звонками и караулила во дворе. От общих знакомых он знает, что после развода она два месяца жила с этим самым одноклассником, а теперь сожительствует с кем-то другим и рано или поздно пойдет по рукам. Некоторое сходство истории его жены с ее собственной несколько смутило ее, и она, словно защищаясь, возмущенно подумала: "Но я же после Ивана не пошла по рукам!" На что некто тихий внутри ехидно заметил: ну, значит, все впереди!

Закончив рассказ, парень уставился на нее с нетерпеливым ожиданием. Она выдержала расчетливую паузу, откинула одеяло и подтянула рубашку. Он встал перед ней на колени, помялся и спросил: "Катенька, вы трусики сами снимите или можно мне?" "Снимай" – разрешила она. Парень с благоговейной неловкостью стянул с нее трусы и вместо того

чтобы отложить, уткнулся в них носом. Насладившись, занял плацдарм меж ее раздвинутых ног и попросил расстегнуть рубашку. Подумав, она расстегнула. Он упал на вытянутые руки, с маслянистой упругостью скользнул в нее и, обдавая ее нежным блеском глаз, стал осваиваться. Перед ее глазами пружинисто колыхалось его восходящее под углом тело. Погружаясь в нее, он бедрами и животом касался ее бедер и живота и тут же отскакивал, как от горячей плиты. Его мускулистая отстраненность требовала усилий, и он громко и мужественно засопел. В какой-то момент его торс съехал вбок, и она вдруг увидела в зеркале свои бесстыдно разваленные ноги и сплюснутые ягодицы, его разъехавшиеся до упора колени и треснутую пополам задницу с растущим из нее стволом, который он аккуратно вгонял меж ее створок, словно кол в мягкую борозду. Всё перечисленное сопрягалось и трудилось с животным, не ведающим срама усердием. Это глумливо-постыдное, дремучее, лишенное эротического глянца скотство стало для нее шокирующим откровением. Неужели все люди в этот момент выглядят именно так? Неужели никто не свят? Даже Ромео с Джульеттой? В смятении она поспешила отвести глаза. Нездоровое любопытство, однако, пересилило отвращение, и она, сморгнув царапающий стыд, вернула взгляд на место. В зеркале мельтешила беспокойная задница парня, и его перепачканный кремом ствол с двухдольным терракотовым мешочком казался сзади гораздо внушительнее, чем спереди. Как же тогда должна

выглядеть моя пушка?! – ужаснулась она, и далее: господи, столько лет насаживать свои изящные чресла на моего Гулливера, столько раз позволять распяливать тонкогубые воротца до тугой, лопающейся белизны, в то время как ее субтильной норке нужен такой вот аккуратный и ладный хоботок! Вот ее ровня, вот ее размер! С ним ее вагина поет, а не молчит, наслаждается, а не давится, дышит, а не задыхается!

Заметив, куда устремлен ее взгляд, парень свернул голову и, обнаружив на ее промежности сочный опаловый потек, подцепил его пальцем и слизнул. Она покраснела и отвернулась, а он, облизываясь и причмокивая, навалился на нее с новым рвением. Напустив на нее морок, он вздернул свечой ее безвольную ногу и, ухватившись за нее, принялся частыми шлепающими толчками выталкивать из ее хозяйки короткие звучные гласные, наблюдая, как мечутся, не находя места, ее руки, как давится ахающим дыханием распяленный рот, как перекачивается медальон живота и скачут в немом галопе барельефы груди. Не сбиваясь с энергичного ритма, он умудрялся оглаживать ее ногу, целовать ступню и покусывать подошву. Утвердившись во власти, развалил ей до лопающихся сухожилий колени и стал своей блестящей сарделькой наштиговывать ее гузку. Она хотела сказать, что ей больно, но боль и удовольствие неожиданным образом смешались в причудливую истому, и она промолчала. Не спуская с нее глаз, он некоторое время упивался ее покорной отзывчивостью, а потом подался вперед и ухватил

ее за грудь. Желая оторвать его от себя, она вцепилась ему в запястья, но то ли от бессилия, то ли оттого что грудная усадка стала частью общего томления, то ли руки ее нашли себе место, только там и остались. Войдя в раж, он припал к ней, сплелся пальцами, сросся кожей и вверг в нескончаемое состояние блаженного беспамятства: ни имен, ни лиц, ни прошлого, ни будущего – только поющая плоть и живительное электричество. Обхватив его руками и ногами, она страстными стонами и встречными толчками добавляла жару их хлюпающему блаженству. В какой-то момент ей показалось, что память к ней возвращается, но он в победном иступлении обрушился на нее, вернул туда, где нечем дышать и, утробно замычав, стал извергаться вместе с ней. Она помнит, как затянувшийся миг высшего восторга озарило слезное вопрошание: "Господи, ну почему так хорошо?!.."

44

Придя в чувство, она проверила себя, хотя могла не проверять: парень остывал рядом, и прозрачный конец его вылизанной до леденцового блеска резинки оттягивала изрядная доза мутного зелья. Подивившись тому, как такое субтильное изделие могло выдержать такое зверское испытание, она обласкала взглядом его неброский, но такой боевой калибр и с набирающим силу бесстыдством подумала: "Не уйду, пока не выдою досуха..." Парень в расслабленном уми-

лении смотрел на нее, и она, указав подбородком на его бедра, улыбнулась: "Какой он у тебя аккуратный... А у мужа просто чудовищный... Настоящий мучитель..." Он подхватил ее руку и припал к ней губами. Подождав, она отобрала руку, бросила взгляд на часы и обронила: "Уже восемь...", на что он спокойно и просто предложил: "Оставайтесь, Катенька, на ночь. А хотите – на всю жизнь. Счастье гарантирую" Она собралась спросить, куда он дел ее трусы, но передумала и, запахнувшись полами рубашки, отправилась в ванную. Ни чувств, ни мыслей, только ощущение какой-то важной и глубокой перемены, что вершится внутри нее. Вернувшись, обнаружила, что бордельный дух стал еще гуще, а освободившийся от резинки парень лежит с ее трусами на лице. Она нагнулась, схватила их и раздосадовано воскликнула: "Как ни стыдно!.." Он лишь блаженно улыбнулся. Скомкав трусы, она сунула их под подушку, после чего, подчиняясь невесть откуда взявшейся бесовской прихоти, сбросила с бесстыжей легкостью покоробленную испариной рубашку и, сверкая наготой, велела: "Дай другую, пожалуйста". Не спуская с нее зачарованных глаз, голый парень слепым ходом добрался до шкафа, достал на ощупь первую попавшуюся рубашку и двинулся к ней. Приблизившись, выдохнул: "Вы чудо..." Расчехленное орудие его целилось в зенит, лицо налилось похотливым румянцем, глаза липли к ее наготы. Выставив в его сторону ладонь, она с явственной угрозой предупредила: "Не вздумай...", и тут же где-то в глубине ее возникло пугающее

желание, чтобы он не послушался и набросился на нее, чтобы заломил руки, смял, сплющил и погрузил в дурман, от которого улетучивается воля и теряется разум; чтобы нещадно, грубо и бездумно истязал ее, а она жаркими стонами раздувала бы огонь их взаимного безумства; чтобы наполнил ее лоно сочным, свербящим зудом, довел бы ее бартолиновое истечение до хлюпающего избытка, что как известно, сопутствует крайней степени удовольствия, а потом добавил бы туда свое семя и приготовил любовный коктейль, каким и угостил бы ее и себя! Да, да, только так она покончит с прошлым, только так ей откроется новая жизнь, только так ее новый обожатель станет ее кумиром! Отгородившись ладонью, она напряженно наблюдала, как отпускает его лицо и глаза наркоз животной страсти. Он взял себя в руки и протянул ей рубашку. Она прикрылась ею и велела: "Иди, мойся...", и когда он ушел, облачилась в нее и, отходя от пережитого наваждения, подумала: "Господи, что со мной... Сумасшествие какое-то... Ни стыда, ни совести, как будто так и надо...", после чего забралась под одеяло. Он вернулся, устроился рядом, и она попросила: "Расскажи что-нибудь о себе".

Подумав, он заговорил, а она, прикрыв глаза, отдалась томной неге изнеможения. Даже, кажется, задремала. Когда очнулась, его голос по-прежнему звучал рядом: "...и тогда понимаешь, что жизнь разделилась на "до" и "после". Причем "до" была не жизнь, а не пойми что, а "после" – то, ра-

ди чего стоит жить...". Выждав пару минут, она прервала его: "Ты, наверное, думаешь обо мне бог знает что..." "Нет, нет, что вы, Катенька!" – с протестующим жаром воскликнул он. "Скажи, почему ты позвал меня к себе? Я что, похожа на проститутку?" – не унималась она. "Катенька, что вы такое говорите! – ужаснулся он. – Просто я почувствовал, что с вами что-то не так! И мне стало горько и обидно, что такая необыкновенная, несравненная женщина страдает! Чем я могу вам помочь? Только скажите!" "Просто делай то, что делаешь, – не стала мудрить она. – Мой муж хочет, чтобы я вела себя в постели как проститутка, а я хочу, чтобы меня любили. Понимаешь?" "Понимаю и буду любить вас как никто другой! – увлажнились его глаза. – Я же полюбил вас с первого взгляда, с первой секунды и на всю жизнь!.." И далее в том же бессвязном приподнятом духе. Глядя на его кроткое, взволнованное лицо, она спросила себя, чего испугалась в первый раз. Не этих ли безумных Ив́ановых зрачков? Не они ли всколыхнули в ней тайный страх, который с первой менструации внушала красавице дочери ее мать, приучая видеть в мужчинах своих потенциальных обидчиков? До чего же символично, что счет обидчикам открыл ее первый мужчина, он же муж! Со мной ее тайный страх стал явным и обрел формулу: насилие есть слезы, боль и унижение. И второй раз она пережила их с Иваном.

К любовникам обычно идут, чтобы получить то, что не получают от мужей, либо чтобы неверностью ответить на

неверность. Ее же резон был высок и бескорыстен: ей надлежало отблагодарить первую любовь за жертвенность и расстаться с ней навсегда. Они вошли в номер и встали друг против друга. Он всегда был с ней заботливо нежен, и она нисколько не сомневалась, что он будет таким и в этот раз. И тут он облапил ее и оглушил огненным, всепожирающим, совсем не похожим на прежние поцелуем. Когда распались, стали раздеваться: он нервно и нетерпеливо, она медленно и аккуратно. Не успела она снять и расправить платье и лифчик, как он уже стоял голый с нацеленной на нее толстой, изрядно откушенной морковкой. Потупившись, она замешкалась перед выбором, что снять раньше – трусы или чулки, как вдруг он подхватил ее, и через секунду она уже лежала на животе. Он рывком приспустил ей трусы, и не успела она глазом моргнуть, как его крепкий огрызок уже обживался в ее недрах. Все произошло со стремительной беспардонностью. Полная противоположность моему с ней обхождению, когда я, уложив ее на живот, в молитвенном угаре целовал ее попу, а затем почтительно потчевал ощущениями, что таились в подбрюшной части вагины и певуче отзывались на мои потирания. Следовало возмутиться, но нет: она вдруг с неуместным замиранием обнаружила, что его грубость ей по вкусу – в ней чудилась многообещающая, несвойственная нашим с ней благочинным играм новизна. Ее бесправное, придавленное дерзкими руками тело щекотало ощущение бесстыдной распущенности. Оставалось дождаться, когда повелительно

снующий туда-сюда огрызок вызовет у нее что-то другое, кроме уже испытанного. Было больно, как бывало всегда, когда она была не готова, и она, свернув голову, ежилась, морщилась и деликатно постанывала. Он же буйствовал вовсю: раскорячившись, с размаху всаживал себя сверху – грузно, зычно, звонко, как пощечины отвешивал. Разогревшись, перевернул ее на спину и надвинулся багровым лицом. Тут-то она и разглядела его мутные, безумные зрачки. Разглядела и испугалась: в них не было ни любви, ни заботы, ни добра, ни мысли, а одна лишь копоть адского пламени. Он даже не потрудился стянуть с нее приспущенные трусы, а просто всадил между ее сведенных ног свое тупое долото и с нещадным исступлением принялся долбить. Сначала она терпела, а потом не выдержала и взмолилась: "Не надо так, мне тяжело, мне больно!..", но он заткнул ей рот твердым, колючим поцелуем и навалился еще сильнее. Она пыталась освободиться, но он не давал. Наконец крупно задергался, застонал, утопил лицо у нее за плечом, и по тягучему хлюпанью внутри себя она поняла, что наступил конец первого акта. "Отпусти, мне нужно в душ!.." – потребовала она, собираясь тут же сбежать от него, но он продолжил лежать на ней тяжким бременем. Она попробовала вывернуться, но он сковал ее запястья и глухо забормотал: "Подожди, подожди, сейчас... Только отдохну немного...". "Не надо, не хочу больше, отпусти, тяжело, не хочу!.." – взмолилась она. Он не замечал ее стенаний, ворочал бедрами, вдавливая себя в нее до боли в лобке, и

вдруг окреп, задвигался, сначала медленно, затем быстрее, и вот уже снова забился в смертном исступлении. Тут-то она и поняла, что такое настоящее насилие...

В первые два года между нами случилось, что она капризничала, и я брал ее силой, но то было любовное, назидательное принуждение, ни формой, ни сутью несравнимое с тем, что творил этот таежный дикарь. Забросив ей за голову руки и придавив всем телом, он с отбойным усердием всаживал в нее свою кедровую шишку, а она из-под его плеча ловила ртом воздух и беспорядочно стонала – до тех пор, пока он не довел ее до отвратительного, противоестественного оргазма. Придя в себя, расплакалась и, страдая от его грузного, нещадного бесчинства, долго мешала судорожные всхлипы с судорогами насильных, подневольных оргазмов. Когда же он отпустил ее, заплаканную и полузадушенную, она слепым, бездумным движением подтянула трусы – и вот ведь парадокс: вместо того чтобы бежать, осталась лежать! Истерзанная, обильно залитая, с саднящим влагилищем, натертым лобком и каким-то гадким, ядовитым послевкусием, она негромко и горестно всхлипывала, а он, голый и нераскаявшийся, лежал рядом и, запустив руку ей в трусы, ненасытно тискал ее скользкий лобок. Никакого сомнения: после короткого отдыха он накинется на нее снова, а потом будет принуждать еще и еще, пока она не сойдет с ума. "Надо уходить..." – собираясь с силами, подумала она. Он липкой тяжелой лапой прошелся по ее животу, сгреб грудь и пустился

в откровения относительно его жизни с нелюбимой женой – жизни, которую скрашивают только дети, работа и неотвязные мысли о ней. Ей вдруг представилась пасторальная картина: тихие сумерки за окном комнаты подсвечены мягким светом ночника. Я укладываю Костика, читаю ему на ночь сказку и на его вопрос, где мама, отвечаю – мама скоро придет. Господи, если бы я только знал, где она и чем занимается! Внезапный жгучий стыд пронзил ее и вскипел до краев. Торопливо вытерев слезы, она кинула: "Все, я уйду!", но он по-хозяйски накрыл ее лобок: "Не пушу! До утра не пушу, а утром пойдем к твоему мужу и все расскажем!" Не пытаясь сбросить его руку, она спокойно сказала: "Ты, конечно, можешь взять меня силой, но тогда между нами точно все будет кончено. Ты этого хочешь?" Помедлив, он убрал руку, и она встала с кровати. Он ухватил ее за запястье и снова попытался удержать: "Не пушу, ты теперь моя жена!" "Жена? – звякнула в ее голосе неожиданная злость. – Ты думаешь, если изнасиловал меня, то стал моим мужем? Нет, мой дорогой, для этого нужно, чтобы я тебя любила, а я тебя не люблю!" "Тогда зачем пришла?" – не отпускал он ее. "Сама не знаю!" – искренне пожалала она плечами. "А я знаю! – воскликнул он. – Потому что тебе не хватает настоящего секса! Я же слышал, как ты стонала!" "Стонала? – обидно усмехнулась она. – Да я дожидаться не могла, когда это кончится! Боль, слезы и удушье! И это ты называешь настоящим сексом?!" И показав глазами на свою руку, строго добавила:

"Отпусти". Он отпустил, скатился с кровати, упал на колени и, вцепившись в нее, горячо забормотал: "Умоляю, не уходи, ты же знаешь, как я тебя люблю, знаешь, на что я пошел ради тебя!.." "Знаю. Женился на дочке начальника" – освободившись от его горячих потных рук, бросила она. Он зашелся в оправданиях, а она с нарастающим нетерпением наде-ла лифчик, накинула платье, закрутила волосы, подхватила кофту с сумочкой и устремилась к выходу. "Имей в виду, я все расскажу твоему мужу!" – донеслось из-за спины отчаянное. Она остановилась и обернулась: "Да? И что ты ему расскажешь?" "Все..." "То есть, расскажешь, как доверчивая девушка пришла в гости к старому другу, а он ее изнасиловал? Тогда мне проще прямо сейчас пойти в милицию! Доказательств полные трусы! Ну что, давай наперегонки – ты к мужу, а я в милицию!" "Прости, прости, не то сказал! – в отчаянии пополз он к ней. – И прости, если обидел! Я и сам знаю, что был груб! Только ведь с тобой кто угодно голову потеряет! Твоя красота даже ангела до скотства доведет! Прости, прости..." – твердил он, стоя перед ней на коленях – голый, поникший, потерянный, с прикрытым рукой срамом. Подавив жалость, она бросила ему: "Ладно, не скули. Твой телефон у меня есть. Может, когда-нибудь позвоню. Вдруг захочу настоящего секса!" И ушла, хлопнув дверью. В такси мечтала об одном: поскорее сбросить пропитанные спермой трусы, смыть под душем липкую гадость, забраться со мной в кровать и любить меня всю ночь и всю жизнь. Сбро-

сила, смыла, а потом взяла и сдуру призналась – то есть, к одной жуткой глупости добавила еще более жуткую. Дура, даже противно вспоминать! А ведь это только те ее мужчины, с которыми она была! А сколько их смотрели на нее с тем же жадным Ивáновым вожделением, мечтая облагородить ее красотой свою скотскую похоть! И вот теперь этот безобидный, по сути, парень, который тоже во всем винит ее красоту...

45

Среди прочего парень захотел знать, есть ли у нее дети, и она ответила, что у мужа бесплодие. Он вытаращил глаза: "Как?! Изменник, да еще и бесплодный?! Да зачем же вам такой муж?!" Вместо ответа она подтянула рубашку и раздвинула ноги, отразив в зеркале гладкие розовые подошвы, внутреннюю белизну ляжек и разделенные промежностью отверстия А и V. Содрав трусы, парень предстал перед ней на коленях и выпятил бедра с каменным стояльцем: "Вам, Катенька, для женского счастья нужно вот это. Возьмите его, он ваш!" "Ничего себе!" – возмутилась она про себя и хотела его одернуть, но вдруг испугалась, что если станет привередничать, он может принудить ее силой. Покраснев, она спросила: "И что я должна делать?" "Что хотите" – отвечал он. Помедлив, она обхватила его дар и, стыдясь насмешливого зазеркалья, осторожно двинула кулачок вниз: тонкая кожа

натянулась, расправилась крайняя плоть. Перехватив выше, она обнажила полированный, розовато-сизый моллюск – нежный, близкий, лакомый, вполне здоровый на вид, что она и отметила на тот случай, если захочет впустить предъявителя сего без резинки. "Надо же! – льстиво удивилась она. – Четвертый раз, а ты все такой же сильный! А десять сможешь?" "Смогу и больше" – скромно отвечал он. Что ж, судя по его гончей стати, он способен был, не сбиваясь с дыхания, преследовать дичь сутки напролет. Она смущенно улыбнулась и, избегая встречаться с ним взглядом, с напускной неловкостью принялась ласкать горячий, начиненный животворным кремом эклер. Пока он в ее пясти, парень в ее власти, а дальше головная боль всякой женщины: как удержать власть, удалив пясть.

Парень откинулся на пятки и закатил глаза. С минуту она ублажала его, а затем убрала руку. Он умоляюще произнес: "Катенька, позвольте поцеловать вас туда!" "Ты хочешь, чтобы я умерла от стыда?" – картинно возмутилась она. "Тогда, может, ваши дивные ножки?" – не отставал он. "Хорошо, – подумав, свела она ноги. – Только ниже колен..." Он сполз на пол, припал по очереди к ее ступням и от них вскарабкался к коленям, не забывая посматривать на ее медовую кудряшку, для чего сильно морщил лоб и тарасил глаза. После спустился вниз и проделал тот же путь еще раз. Оказавшись на кровати, предстал перед ней, коленопреклоненный и вызывающе возбужденный. "Резинку надень" – напомнила она.

Он натянул презерватив и спросил, знает ли она, что в сведенном состоянии ее дивные ножки образуют четыре изящных просвета, и самый аппетитный из них тот, что под промежностью. Она ответила, что если бы и знала, то не стала бы придавать этому значения. Парень продолжал пожирать ее взглядом, ожидая, когда она раскроется. Ее же вдруг одолел бесшкродливого любопытства: интересно, на что он решится, если она не разведет ноги? Будет в недоумении мяться или применит силу, чем даст повод обвинить его в том, что он такой же дикарь, как ее муж? Смежив ресницы, она скрестила ноги и прикрылась еле заметной усмешкой. Последовала недоуменная пауза, а затем она почувствовала, как его крайний вершок озадачено тычется в ее притопленную дельту. Она уже приготовилась к распирающему усилию, с которым он попытается проникнуть в ее *палатку*, как вдруг он втиснул хоботок в тесный просвет под промежностью и, чуть помедлив, закачался с доверительной признательностью. Это было неожиданно, но противиться она не стала – до тех пор, пока не почувствовала, что в ее уступчивости есть что-то такое, что интимнее самогò соития. Опомнившись, она раскинула ноги.

Когда он на разъехавшихся коленях утвердился между них, его индикатор возбуждения зашкаливал, а в глазах клубился туман обожания. Она распахнула согнутые в коленях ноги, и он, пристроившись к ней, долго водил своим смычком по ее скрипке. Наигравшись, погрузился в нее и принял-

ся в уже знакомой ей манере плавно и мерно накачивать ее веселящим газом. Затаив дыхание, она ждала взлета, но он не наступал. Прошла минута, другая, третья – ничего. "Ну и как это понимать?" – озадачилась она. Видно, парень тоже почувствовал неладное, но вместо того чтобы добавить вкрадчивости, удвоил усилия. Терпя его энергичные потряхивания, она глянула в склоненные над ней, полные страдательного усердия глаза. "Боже мой, кто это и что я тут делаю?!" – вдруг озарило ее тошным сполохом отрезвления. Упершись ладонями во влажный жеребьячий жар его груди, она резким усилием отстранила его, собираясь сказать: "Все. Хватит. Не хочу больше". Он замер и, чуть помедлив, ретировался. Она вскочила, подхватила одежду и скрылась в ванной. Выйдя оттуда, попросила вызвать такси. Он шагнул к телефону, который висел тут же, в прихожей, позвонил, и на вопрос трубки, куда ехать, спросил у нее адрес. Она помедлила и назвала метро "Баррикадная". Он хотел ее проводить – она запретила. Он попросил номер ее телефона – она отказала. Он сунул ей свою визитку – она не взяла. Он бухнулся на колени и сказал, что пусть она его сразу убьет, потому что без нее ему не жить. Его покорный, жалкий вид тронул ее, и визитка исчезла в недрах сумочки...

Добравшись до дома, она телом погрузилась в ванну, а мыслями в события вечера, которые далеко превзошли ее намерения. По сути, она всего лишь искала отмщения, а обрела воздаяние, всего-то хотела ответить на измену, а вме-

сто этого открыла, что нелюбимый мужчина гораздо убедительней, чем любимый. Воспаленная память с болезненным пристрастием запечатлела принудительную перистальтику ее лона проникшим туда шустрим зверьком. Своей гладкой скользкой шкуркой он возбуждал корни растений, и от этого на поверхности распускались диковинные, запретные цветы. Не букеты – целые охапки на могилу унижительной верности! В самом деле, зачем ей теперь милостыни того, кого она считала единственным, если есть рог изобилия услужливого утешителя? Зачем терпеть гнетущий рецидив супружества, если к ее услугам удовольствия необязательных отношений? Вот оно, избавление от хронического унижения, вот она, желанная независимость! Ей бы возрадоваться, а на душе муторная тоска, ей бы строить планы, но вместо них гнетущий, нечистый запах коварного подвоха. Как же так – она, наконец, прошла босиком по битому стеклу, но никого и ни в чем не убедила!

Казалось, эта ночь не кончится никогда. Она засыпала и просыпалась, а проснувшись, видела одно и то же: себя в бессовестно распахнутой рубашке и с бесстыдно разбросанными ногами, голого парня, который хозяйничал в ее святилище, свое покорное, стонущее беспамятство и его неподвижные, гипнотические зрачки на оскаленном лице. Видела, как он всаживал в нее свой крепкий сучок, а она подхватывала его встречными движениями бедер. Вспоминала, как жгучий стыд сменился бесстыдной распущенностью, и верх бес-

стыдства – его близкий, розовато-сизый моллюск в ее руке. Хорошо еще, что в руке. А ведь он мог заставить ее сделать кое-что похуже, с запоздалым ужасом думала она и заходила в тихом безутешном плаче. "Это ты во всем виноват..." – твердила она мне, глотая слезы.

Все воскресенье она ходила с застрявшими в горле слезами и проклинала себя за безумную выходку, а в понедельник проснулась с ощущением тягучей, нетающей истомы, радостный вкус которой уже, казалось, забыла. Свежий дух летнего утра взбудоражил кровь, и она неожиданно потянулась – со вкусом и легким отчетливым стоном. Запустив пальцы во влажную теснину, она с четверть часа ласкала себя, с томительным замиранием вспоминая гипнотический напор голого парня и состояние затаенного, задыхающегося улета, которого никогда не испытывала. И вдруг прилив признательного умиления: господи, да вот же он, искомый мужчина, демонические способности которого погружают ее в бесконечный экстаз! Мужчина, с которым она воспаряет к вершинам плотского наслаждения и который ставит ее удовольствия выше своих! Чего же ей, дуре, еще надо? Ею вдруг овладело внезапное, неотвязное и прямо-таки лютное желание быть с парнем. Едва дождавшись полудня, она позвонила ему из автомата и договорилась о встрече, а вечером дала себя измучить пятью оглушительными актами, после которых уползла от него блаженно изнуренная.

На самом деле все к этому и шло. Первый вечер стал для

нее пробой сил – она познала вкус мести. Дальше следовало насладиться ею – неистово, злонамеренно, запредельно, от души, что она и сделала. После наших несурзных сочленений и двух последних лет одиночества их самозабвенные, марафонские акты стали для нее актами отречения от прошлой и примеркой новой жизни. Никаких сантиментов, ни малейших иллюзий, только мстительное упоение духа. Они зашли в спальную и стали раздеваться. Обнажившись первым, он встал перед ней – молодой, жадный, фартовый, с лопающимся от натуги достоинством. За ним призывным глянцевым фантиком предстала и она. Вместо того чтобы сорваться с цепи, он опустился на колени и обратил на нее покорный, страждущий взгляд. Она помедлила и надвинулась на него медовым лобком, как бы прося прощения за предыдущую обструкцию. Он обхватил ее бедра и прилип к ним. Закрыв глаза и подрагивая, она нервно теребила его густые волосы. Дождавшись первых признаков косноязычия, выговорила:

"Пойдем на кровать"

Легли, и он, склонившись над ней, приготовился продолжить.

"Подожди..." – остановила она его.

Он застыл в благоговейном ожидании, и она сказала:

"Хочу, чтобы ты знал: других мужчин кроме мужа у меня не было, так что ты мой второй мужчина, и с тобой у меня все по-другому... Даже не представляла, что может быть так

хорошо! В общем, хочу, чтобы ты был моим единственным мужчиной..."

Он сполз на пол и, встав на колени, принялся целовать ей ступни: испещрил щекотными узорами подошвы, обсосал пальчики, облизал подъемы, облизывал косточки и забрался на кровать, растроганный и умиленный.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.